ЗАПИСКИ

ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

IV

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1935 ЛЕНИНГРАД

ЗАПИСКИ

ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК СССР

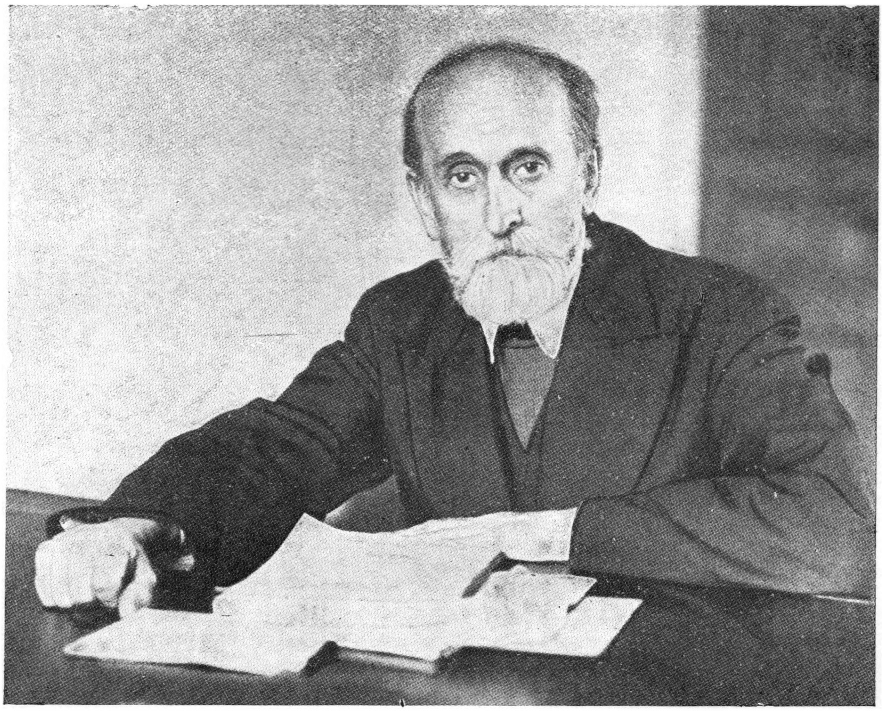
IV

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1935 ЛЕНИНГРАД

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Сентябрь 1935 г.
Непременный секретарь академик *В. Волгин*

Редактор издания акад. А. Н. Самойлович



Серг. Ольденбург

СОДЕРЖАНИЕ

Настоящий IV том «Записок Института Востоковедения» посвящается памяти скончавшегося 28 февраля 1934 г. директора Института академика С. Ф. Ольденбурга бессменного руководителя работой Института с момента его организации, и состоит из докладов, читанных на заседаниях Академии Наук СССР, посвященных его памяти.

Академик А. Н. САМОЙЛОВИЧ

Академик С. Ф. Ольденбург как директор Института востоковедения Академии Наук СССР

Академик С. Ф. Ольденбург получил от Академии Наук СССР в 1930 г. весьма ответственное и крайне нелегкое поручение быть первым директором одного из новых академических учреждений — Института востоковедения, призванного в момент его основания коренным образом перестроить востоковедную работу Академии применительно к общим установкам советской науки в отличие от буржуазной и в соответствии с современными практическими задачами хозяйственного и культурного строительства на советском Востоке и осуществления советской мирной политики на Востоке зарубежном.

С. Ф. Ольденбург в сознании своего долга перед советской наукой и социалистическим строительством, служить которому призвана советская наука, самоотверженно, несмотря на свой немолодой возраст и свою утомленность, принял этот пост в разгар напряженной борьбы, происходившей в стенах учреждений Академии в годы ее реорганизации, борьбы за ликвидацию ряда учреждений, по своим задачам не соответствовавших целям советской науки, и за создание новых учреждений, борьбы за внедрение плановости в научно-исследовательскую работу и за подчинение этой работы требованиям социалистического строительства, борьбы за марксистско-ленинскую методологию в научной деятельности Академии, за методологическое перевооружение научных работников, за очищение Академии от несоответствующих ее новым установкам сотрудников и за привлечение к ее работе свежих кадров, словом — борьбы на академическом фронте, отражавшей в конечном счете общую классовую борьбу в нашей стране за построение нового, социалистического общества, нового хозяйства, новой культуры, новой науки.

В этих исключительных, революционных условиях реорганизации Академии Наук успех дела организации нового Института востоковедения

на смену прежних мелких и не соответствовавших задачам советской науки академических востоковедных учреждений зависел от силы воли организаторов, от правильного понимания ими научно-исследовательских, консультационных и популяризационных задач нового учреждения и неуклонного проведения их в жизнь, от тесного сотрудничества администрации учреждения с его партийной и профсоюзной организациями, от уменья использовать старые кадры первоклассных специалистов и объединить их работу с работою молодых кадров, от обеспечения надлежащей подготовки новых кадров и от своевременного установления связей с родственными по специальности научно-исследовательскими и культурными учреждениями и организациями Союза и зарубежных стран.

Как и в другие моменты своей жизни, С. Ф. Ольденбург пожертвовал ради порученного ему чрезвычайно большого и сложного дела почти полностью своей личной научно-исследовательской деятельностью, несмотря на обилие и в высшей степени увлекательный в научном отношении характер собранных им и ждавших обработки материалов, и все основное время последних лет своей жизни, свои организаторские талант и опыт, свои знания отдал организации нашего Института с образцовой добросовестностью и с любовью.

Мы, непосредственные свидетели его работы по руководству Институтом востоковедения, можем и должны с полной ответственностью заявить на заседании Общего собрания Академии, посвященном его памяти, что никто из товарищей С. Ф. Ольденбурга по Академии, специалистов по востоковедению, не выполнил бы возложенной на него задачи с таким успехом, как выполнил ее он.

Организация советского востоковедения в Академии Наук, как более других и прежде всех других сознавал до последних дней своей жизни сам С. Ф. Ольденбург, далеко еще не завершена, нашему Институту предстоит еще напряженная работа по его дальнейшему развитию и вглубь, и вширь и ввысь, особенно по укреплению марксистско-ленинской методологии в исследовательской деятельности Института. Но надежная, прочная почва для этого развития уже создана, и создана она коллективом институтского актива под руководством С. Ф., директора Института, работавшего неизменно в теснейшем сотрудничестве с партийной и профсоюзной организациями Института и сумевшего благодаря своему научному авторитету, тактичности, простоте, общительности и любви к молодежи — нашей научной смене — сковать большинство сотрудников Института, и старых и молодых, в единую дружную семью советских востоковедов Академии Наук.

Неизбежные во всяком крупном деле, временные, большие или меньшие, неполадки возникали и в нашем Институте за период директорства С. Ф. по вине одного, или другого, или третьего звена в цепи участников институтской работы, но под опытным руководством С. Ф. и при содействии Президиума Академии они всегда благополучно ликвидировались, и после этого Институт с еще большей энергией продолжал дружное выполнение своих производственных планов.

Уже в 1931 г., на втором году существования нового Института востоковедения С. Ф. писал в статье «Востоковедение в Академии Наук на новых путях» (Вестник Акад. Наук, 1931, № 2): «Всматриваясь внимательно в ту большую работу, которую ведут сейчас наши востоковеды в Академии по линии переключения всей своей работы по-новому, с приближением ее к жизни Союза и с увязкою с социалистическим строительством, мы вправе сказать, что востоковедение в Академии Наук двинулось и движется по новому пути» (стр. 15—16). В той же статье С. Ф. отмечает основные отличия этого нового пути от старого, дореволюционного, буржуазного и причины перехода на новый путь. Ранее укреплялось представление о том, что Запад и Восток — два различные мира. В основу этих представлений легла колониальная политика Запада по отношению к Востоку, легло господство эксплоатирующих над эксплоатируемыми. «Коренная перемена по отношению к национальной политике со времени революции, конечно, должна была изменить и основную установку востоковедения в Академии Наук» (стр. 10). Далее С. Ф. говорит: «лозунг „наука для социалистического строительства“ заставил наших востоковедов пересмотреть все старые установки и темы» (стр. 11). Развивая это положение, С. Ф. указывает на включение ранее игнорировавшегося большинством специалистов Нового Востока в сферу изучения советского востоковедения (стр. 11), на то, что «стоят на первом месте вопросы экономики всех стран Востока, без знания которой немыслимо настоящее знание этих стран» (стр. 14), на то, что «Жизнь наших национальных восточных республик поставила перед нами особенно остро такие вопросы, как, например, латинизацию и создание литературных языков. Старый режим, как известно, всячески противодействовал выявлению отдельных национальностей и сильно этим задержал развитие ряда языков и литуратур» (стр. 12). В той же статье С. Ф. писал: «Необходимо указать переход на новую методологию... Здесь требуется особое напряжение, так как большая часть наших востоковедов еще чрезвычайно слаба в новой методологии. Дискуссии, которыми теперь сопровождаются большею частью наши доклады, очень помогают

нашим востоковедам». Тогда же С. Ф. отмечал (стр. 13) начало совместной работы Института востоковедения с Историко-археологическим институтом по изданию материалов по истории народов Советского Востока.

Свои мысли о новых задачах и новых установках изучения Востока в Советском Союзе С. Ф. изложил также в докладе, сделанном им в 1931 г., в качестве директора Института востоковедения, на московской выездной сессии Академии Наук под заглавием «Восток и Запад в советских условиях».

Как видно из названных мною и других печатных работ С. Ф., он, руководя перестройкой востоковедения в Академии, перестраивался и сам и достиг в этом направлении значительных успехов, показывая тем самым пример другим представителям старого востоковедения.

В результате руководства С. Ф. деятельностью Института востоковедения в качестве его директора на протяжении 1930—1933 гг., Институт, работающий в составе 10 кабинетов, обширной востоковедной библиотеки и богатого отдела рукописной книги и документа, унаследованных от бывшего Азиатского музея, успел выявить себя рядом достойных упоминания достижений.

В пределах из года в год возрастающих финансовых средств, Институт собрал в своих стенах большинство крупнейших востоковедов Союза и тем обеспечил высококачественную научно-исследовательскую работу по таким дисциплинам, как языковедение, литературоведение, история, философия и в весьма скромных размерах экономика отдельных стран и народов советского и зарубежного Востока. Уже достаточно многосторонне поставлено изучение таких важных в современной мировой жизни стран, как Япония, Китай, Монголия. Высококачественная работа по отдельным дисциплинам обеспечена в кабинетах арабском (язык и литература), персидском (язык, история, литература), индо-тибетском (язык, лингвистика, философия), кавказском (язык), среднеазиатском (языки, история), турецком (язык, экономика).

Наиболее крепким и сильным остается Институт в области языковедения, в разработке которого по отдельным языкам Востока он в методологическом отношении согласует свою работу с Институтом языка и мышления им. акад. Н. Я. Марра. Наиболее мощное содействие социалистическому строительству Союза оказывает Институт по линии языкового строительства восточных советских республик, краев, областей и районов в сотрудничестве с Всесоюзным центральным комитетом нового алфавита и с Наркомпросами соответствующих республик.

За последнее время расширяется работа Института по собиранию, переводу и изданию материалов по истории восточных народов СССР: каракалпаков, туркмен, монголо-бурят, узбеков, самостоятельно или в сотрудничестве с Историко-археологическим институтом.

На почве разработки названных дисциплин, а также литературоведения, укрепляются непосредственные связи Института с отдельными частями советского Востока, осуществляемые, помимо письменных сношений, путем поездок сотрудников Института на места, наездов представителей советского Востока в Институт и путем подготовки в Институте чрез аспирантуру научных кадров из коренного населения советского Востока. Развиваются научные связи Института и с зарубежным Востоком, особенно с Монголией, Таннутувою, Турцией, Персией, а также и с некоторым другими странами.

В отношении изучения экономики зарубежных стран Востока, истории национально-освободительного и рабочего движений Институт сотрудничает с рядом московских научно-исследовательских учреждений: Комакадемией, КУТВ'ом и др.; по вопросам изучения истории феодализма на Востоке Институт поддерживает связи с Гос. Академией истории материальной культуры и с восточным отделом Гос. Эрмитажа.

За последнее время при отдельных кабинетах Институтом востоковедения начали объединяться специалисты по изучению отдельных стран Востока, работающие в Ленинграде вне Института, а также иногородние востоковеды. Таким образом возникли при Институте ассоциации японоведов, монголистов, арабистов и по изучению Турции.[1]

Институт востоковедения принимает активное участие в популяризационной и политико-просветительной деятельности Академии Наук, являясь одним из передовых учреждений Академии по участию в общественно-политической жизни Ленинграда и всего Союза.

Под редакцией С. Ф. Ольденбурга вышли первые томы «Записок» и «Трудов» нашего Института, а также «Библиографии Востока».

Таковы в самых кратких чертах результаты работы Института востоковедения за время руководства им его первого директора, ученого с мировым именем, исключительного учителя, выдающегося организатора, большого общественника, прекрасного товарища, друга молодежи, незабвенного С. Ф. Ольденбурга.

---

[1] После настоящего доклада возникли еще ассоциации кавказоведения, ирановедения, по изучению Средней Азии.

Академик И. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

С. Ф. Ольденбург как историк востоковедения

История востоковедения — только одна линия интересов С. Ф. к истории науки и истории Академии, тесно между собою связанным. В эту сторону С. Ф. влекли не только внешние обстоятельства, но и индивидуальная склонность. В одной из своих статей он писал, что «подобного рода работы характерны для ученого, и действительно, мы никогда или в весьма малой мере находим их у ученых-эгоцентристов: для них важна и интересна прежде и главнее всего собственная мысль, собственная работа, они редко принадлежат к организаторам, так как элемент личный слишком преобладает; этот тип одинаково существует и среди первоклассных ученых и среди ученых совершенно посредственных, ибо это только свойство известного типа личностей, независимое от результатов их творчества».[1] Все мы хорошо знаем, что С. Ф. ни в какой мере не был эгоцентристом и в высокой мере был организатором; он был, говоря опять его словами, из числа тех, «кому приходилось задумываться над вопросами истории науки и подробно и тщательно разбирать значительное число работ ученых с целью выяснить для себя ход мысли и методы работы специалистов».[2] В конце фразы он сознательно подчеркивал то, что его особенно влекло в истории науки — анализ индивидуального творчества ученых. Это была не случайная мысль, и в характеристике «Азиатского архива» он говорил: «В последнее время все яснее становится, какое значение имеет для планомерности научной работы тщательное изучение истории и методов каждой дисциплины, изучать которые надлежащим образом можно лишь знакомясь с самою интимною стороною работы ученых так, как нам вполне обнаруживают ее и неизданные материалы и переписка ученого, где он высказывается гораздо свободнее, а часто и определеннее, чем в печатных трудах».[3]

[1] ИАН, 1918, стр. 1766 (в статье о Г. Керне).

[2] Ibid., стр. 1762.

[3] Азиатский музей Российской Академии Наук. 1818—1918. Краткая памятка. П. 1920, стр. 6.

Углубленное внимание к этой стороне в истории науки никогда не заслоняло у него общей картины, общих выводов, которые он с ясностью и простотой формулировал в каждом отдельном случае. Прошлое у него служило к разъяснению и пониманию настоящего; изучение настоящего влекло ко всегда кипевшим у него мыслям об организации будущего. И когда совсем молодым человеком он писал свои «Очерки преподавания восточных языков во Франции, Англии и Германии», он не мог не вспомнить основания Collège de France в XVI в. и оригинальную фигуру первого в Европе профессора восточных языков Постэля;[1] когда позже он давал отчет о «Французской школе крайнего Востока в Сийгоне»,[2] у него возникал план создания аналогичного учреждения в Ташкенте. Мысль подхватывалась, и в газетах начиналось оживленное обсуждение проекта.[3] Так прошлое у него сливалось с настоящим и в его организационных стремлениях претворялось в будущее. История науки была для него не отвлеченностью, а жизнью, в которой действовали живые фигуры.

Востоковедное развитие С. Ф. проходило под счастливой звездой. В своей автобиографии среди университетских учителей он выделил только ираниста К. Г. Залемана, как того, «которому считает себя особенно обязанным в научном отношении».[4] Однако этот круг был значительно шире, как говорят его свидетельства в других местах. Состоял он из ряда крупных фигур, выдвинутых второй половиной XIX в. В индианистике во всем ее объеме основным руководителем у него явился И. П. Минаев, которому С. Ф. посвятил ряд статей:[5] все же главную роль в расширении его востоковедного горизонта сыграл, повидимому, бар. В. Р. Розен. Специально о нем С. Ф. ничего не печатал, но слова академического отчета за 1908 г. полностью отражают оценку, данную им этому, как он выразился, «заме-

[1] Журн. Мин. нар. просв., ч. CCXCIII, 1894, № 6, отд. 2, стр. 256—258.

[2] Журн. Мин. нар. просв., ч. CCCXL, 1902, № 3, отд. 4, стр. 47—51 (в «Материалах для библиографии трудов С. Ф. Ольденбурга» П. Е. Скачков и в «Сборнике статей, посвященных С. Ф. Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности», Л., 1934, стр. 630, № 106—опечатка в цифрах страниц).

[3] Ср. статьи В. В. Бартольда «По поводу проекта С. Ф. Ольденбурга». Туркестанские ведомости, 1902, № 33 (отд. отт., 9 стр.) и «К проекту восточного института», Туркестанские ведомости, 1906, № 165 (отд. отт., 10 стр.).

[4] Материалы для биографического словаря действительных членов и. Академии Наук, II, П., 1917, стр. 54 (указание на эту автобиографию пропущено в «Материалах для библиографии трудов С. Ф. Ольденбурга» П. Е. Скачкова, стр. 632).

[5] Живая старина, 1890, I, стр. LIII—LXII (есть и во французском переводе); Отчет Географического общества за 1890 г.; ЗВО, X, 1897, стр. 67—77.

чательному человеку».[1] Мы знаем, что этой оценки он не изменил до конца своих дней.[2] Изучение буддизма привлекло С. Ф. еще в студенческие годы[3] к знатоку Китая В. П. Васильеву, в жизни которого он усмотрел трагедию ученого. Снова и снова он возвращался к этой трагедии[4] и в ней видел отражение судеб русского востоковедения вообще. По счастью, в Минаеве и Розене это востоковедение вышло за пределы отечества и превратилось в европейское. И когда С. Ф. после университета попал на Запад, он среди ориенталистов чувствовал себя уже не представителем провинциальной школы, а равноправным членом этого международного объединения. Все востоковеды попали в поле его зрения и со всеми он сумел сблизиться. Широкий востоковедный кругозор, вынесенный из России, давал ему возможность оценить не только индианистов или историков буддизма, но и знатоков Дальнего, равно как и Ближнего востока. И до последних дней ему живо представлялась фигура Ренана, на склоне лет с молодым энтузиазмом толковавшего в Société Asiatique вновь найденную финикийскую надпись.[5]

Широта востоковедных взглядов сложилась у С. Ф. уже к тому времени, когда он выступил с первыми статьями по истории и хронике востоковедения. Ему и тогда были ясны те понятия Востока и востоковедения, которые он отстаивал всю жизнь. Говоря о Востоке, он всегда подчеркивал, что «здесь тот же общечеловеческий мир, с теми же явлениями, теми же законами развития».[6] Он настаивал, что Восток «плохо понимает западный человек, увлеченный достижениями своей цивилизации, и потому слепой к великой и удивительной культуре Востока».[7] Это

[1] Стр. 5: «Для тех, кто, как произносящий эти слова, имел счастие стоять близко к покойному в течение долгих лет, сперва как ученик, а потом как ученик и товарищ, никогда не забудется то, чем они обязаны этому замечательному человеку».

[2] Ср. начало его статьи «Востоковедение». Общественные науки СССР, 1917 — 1927, М., 1928, стр. 309.

[3] ИАН, 1928, 536

[4] См. его статьи в ИАН, XIII, 1900, стр. VI — VIII; ЗВО, XIII, 1900, стр. 047 — 049; Журн. Мин. нар. пр., СССXXX, 1900, № 7, отд. 4, стр. 65 — 70; ИАН, 1918, стр. 531 — 548; Речь, 1910, 27 апреля; Наш век, 1918, 5 марта (20 февраля), № 40. Статья в ИАН 1926, стр. 1815 — 1818 составлена М. И. Тубянским и должна быть исключена из списка трудов С. Ф. См. «Материалы», 635, № 247. Характеристика в «Отчете о деятельности» Академии Наук за 1900 г., стр. 1 — 4, составленном Н. Ф. Дубровиным, судя по стилю, принадлежит С. Ф. Ольденбургу.

[5] Эрнест Ренан, Анналы, III, 1923, стр. 3 — 4 (пропущено в «Материалах для библиографии»); ср. его статью «Ренан как поборник свободы мысли», Проблемы идеализма, М., 1902, стр. 491 — 503.

[6] Восток, I, 1922, стр. 4.

[7] Предисловие к каталогу издательства «Всемирная литература». Литература Востока. П., 1919, стр. 6 (упоминание об этой работе пропущено в «Материалах для библиографии», стр. 633).

не заставляло его, однако, переживать то почти фантастическое увлечение «Востоком, когда восторгались каждым, даже самым ничтожным произведением, когда в нем искали неизменно необыкновенных глубин».[1] С. Ф. был убежден, что «востоковедение только тогда станет на прочную почву, когда оно близко примкнет к изучению и западного мира, когда оно из этого изучения воспримет и методы, во многом уже проверенные и испытанные, когда оно войдет в общее русло гуманитарных дисциплин».[2] Он неустанно повторял, что «при всех несомненных отличиях Востока от Запада, Восток свою духовную жизнь строил и строит на тех же общечеловеческих началах, как и Запад, живет по тем же общечеловеческим законам исторического развития».[3] Он разделял всех востоковедов «с самого начала научного европейского востоковедения, примерно с XVIII века» на два типа. «Одни считали и считают, что при всем интересе, который представляют культуры Востока, они глубоко отличны от западных тем, что в них нет точной науки, научного миросозерцания, отличающего культуры Запада. Эти востоковеды поэтому всегда придавали мало значения восточному научному преданию, его пониманию памятников восточного творчества, противопоставляя ему, как единственно верное, западное понимание, основанное на единственно, по их мнению, верных, западных методах исследования. Другие считали и считают, что у каждого культурного народа, независимо от того, западный ли он или восточный, есть свое понимание своей культуры, считаться с которым и, во многих случаях даже руководствоваться которым, обязан всякий, кто задается целью научно исследовать данную культуру».[4] Сам он принадлежал ко второму типу и это помогало ему с ранних лет правильно уловить и оценить самые разнообразные научные течения и взгляды, существовавшие в востоковедении.

До 1900 г. С. Ф. все же сравнительно редко обращался специально к вопросам истории востоковедения, хотя часто касался их попутно, главным образом, в рецензиях и заметках по хронике научной жизни. Войдя в состав Академии и вскоре сделавшись летописцем ее в качестве Непременного секретаря, он находит почву, отвечающую его внутренним стремлениям. С этого времени до 30-х годов из-под пера его выходит масса

[1] ИАН, 1918, стр. 2049 (в статье о В. А. Жуковском).

[2] ИАН, 1921, стр. 23 (в отзыве об И. Ю. Крачковском. В этом отзыве С. Ф. Ольденбургу принадлежат стр. 23—27, сообразно с чем должна быть исправлена ссылка в «Материалах для библиографии», стр. 633, № 192).

[3] Ibid.

[4] Записка об ученых трудах действительных членов Академии Наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 12 января и 13 февраля 1929 г., Л. (1930), стр. 1 (в отзыве о В. М. Алексееве).

биографических очерков, отзывов, вводных статей. Можно было бы считать эту форму случайной, вызванной его официальным положением, но нельзя забывать, что именно она отвечала его внутренним склонностям и взглядам на историю науки, где он всегда выдвигал роль личности, указывал, как и в других случаях, на важность изучения человека. Если добавить, что работ такого рода за этот период, притом концентрирующихся главным образом около его основной специальности, индианистики и буддизма, им написано не менее 60, то легко представить, какой громадный материал по истории востоковедения они дают. Можно сказать смело, история изучения обеих этих областей им освещена полностью.[1] То же надо добавить относительно синологии, в которой ему была близка фигура В. П. Васильева; к ней он в печатных и устных выступлениях возвращался не меньше десяти раз, неизменно добавляя новые черты в свою характеристику.[2] С неменьшим интересом обращался С. Ф. и к близкой ему как по научным, так и личным связям области иранистики: здесь им дана продуманная и обстоятельная характеристика В. А. Жуковского.[3] Намерение посвятить такую же работу другому иранисту — его непосредственному учителю К. Г. Залеману — оста-

[1] В этой области ему принадлежат характеристики следующих ученых (в алфавитном порядке): О. Барта (рукопись в Архиве, фонд 2, опись № 14, 1902 г., стр. 13—14, Русская мысль, 1916, август, отд. XVI, стр. 11—13; ИАН, 1918, стр. 61—63), О. Бетлингка (ИАН, XX, 1904 стр. V—VI; Журн. Мин. нар. пр., ч. CCCLIII, № 5, отд. 6, стр. 41—47; Материалы для биографического словаря, I, П., 1915, стр. 53; Критико-биографический словарь С. Венгерова, III, стр. 217—220. Две последних статьи отсутствуют в «Материалах для библиографии». Ср. еще Böhtlingks Druckschriften, Bull. de l'Académie, XXXV, 1892, стр. 97—106, Mélanges Asiatiques, X, стр. 247—56; Г. Бюлера (ЗВО, XI, 1897—1898, стр. 313—319); А. Вебера (ИАН, XV, 1901, стр. XCVI); Л. Де — ла Валлэ Пуссен (проток. ИФ, 1916 г., XIV, прил. II, стр. 230—231); Г. Керна (ИАН, 1918, стр. 1761—1766); К. Коссовича (Биографический словарь профессоров... С.-Петербургского университета, I, 1896, стр. 346—354. Пропущено в «Материалах для библиографии»); С. Леви (Протоколы ИФ 1918, XIV, стр. 20 (7) ноября, прил. III стр. 265—266); Ч. Лэнмана (Проток. ИФ, 1907, 28 ноября, 1907, II, приложение VI); Г. Людерса (ИАН, 1924, стр. 561—564); Д. Овсянико-Куликовского (Начала, № 2, 1922, стр. 7—11); Р. Пишеля (ИАН, 1909, № 2, стр. 129—132); Ф. Томаса (ИАН, 1924, стр. 561—564); Г. К. Уаррена (ЗВО, XII, 1899, стр. 021); Л. Фино (ИАН, 1924, стр. 566—567); А. Фуше (ИАН, 1924, стр. 564—566); сэра А. Штейна (ИАН, 1924, стр. 568—569); Ф. Щербатского (ИАН, 1918, стр. 1713—1722); Г. Якоби (рукопись в Архиве, фонд 2, опись № 14, 1902 г., стр. 15—16). Кроме этих характеристик, существует ряд других, относительно которых авторство С. Ф. еще не установлено; некоторые из перечисленных не вошли в «Материалы для библиографии».

[2] К области синологии относятся его статьи и отзывы о В. М. Алексееве (ИАН, 1918, стр. 1748—1751; ИАН, 1923, стр. 373—374; Записка об ученых трудах... 1930, стр. 1—4); А. О. Ивановском (Журн. Мин. нар. пр., CCCXLVI, 1903, № 4, отд. 4, стр. 127—132); П. Пельо (ИАН, 1922, стр. 56—57); Э. Шаванне (Проток. ИФ, 1913, XV, 20 ноября, § 505, приложение; ИАН, 1918, стр. 1777—1782).

[3] ИАН, 1918, стр. 2039—2068.

лось неосуществленным.[1] Но и в других областях, иногда, казалось, далеких от его специальности, он оставил галлерею живых портретов: здесь мы найдем и арабиста,[2] и туркологов,[3] и монголиста,[4] и кавказоведа,[5] и исследователя палеоазиатских языков,[6] и историка восточного искусства,[7] и историка Востока.[8] Галлерея богатая и содержательная; в ней, конечно, нужно было бы объединить все эти портреты, но здесь вспоминаются грустные слова самого С. Ф. по поводу восьмитомного собрания сочинений голландского индианиста Керна: «Когда-то творцы нашего востоковедения дождутся таких изданий!»[9] Верный своему принципу восходить к первоисточникам, он и в этих характеристиках старался не ограничиваться печатными изданиями, а обращался в меру возможностей, предоставляемых ему урывками времени, к архивным материалам, переписке и рукописям ненапечатанных трудов.[10] В сущности, вся история русского востоковедения нашла здесь свое отражение. Мы встретим упоминание об изучении Дальнего Востока и Индии в Академии Наук XVIII в.,[11] найдем оценку старой казанской школы востоковедения в первой половине XIX в.,[12] освещение роли Петербургского факультета восточных языков на ряду с Академией Наук во второй половине XIX в.[13] Он мог объективно относиться к старому

1 ИАН, 1917, стр. 281 — 286 (см. стр. 286). Кроме этого, ему принадлежат характеристики следующих иранистов: М. С. Андреева (Записка об ученых трудах членов-корреспондентов Академии Наук СССР по Отделению гуманитарных наук, избранных 31 января 1929 г. Л., 1930, стр. 1 — 2), И. Н. Березина (ЗКВ, I, 1925, стр. 173 — 176), Ф. А. Розенберга (ИАН, 1923, стр. 369 — 370), А. А. Фреймана (ИАН, 1928, стр. 483—485).

2 Отзыв о И. Ю. Крачковском (ИАН, 1921, стр. 23 — 27).

3 Статьи о Ф. В. К. Мюллере (ИАН, 1928, стр. 470 — 471; ИАН, 1930, стр. 377 — 382); В. В. Радлове (ИАН, 1918, стр. 1233—1236); В. Томсене (Памяти В. Томсена, Л., 1928, предисловие III). Записки об Н. И. Ашмарине и В. А. Гордлевском составлены В. В. Бартольдом и должны быть исключены из «Материалов для библиографии», стр. 637, № 288—289.

4 Отзыв и статья о Б. Я. Владимирцове (ИАН, 1923, стр. 380 — 382; ИАН, 1932, стр. 667 — 676). Отзыв о В. Л. Котвиче (ИАН, 1923, стр. 369 — 371) составлен В. В. Бартольдом и должен быть исключен из списка работ С. Ф. в «Материалах для библиографии», стр. 634, № 214.

5 Памяти М. И. Броссе, ИАН, XVI, 1902, стр. OVII — OIX (пропущено в «Материалах для библиографии»).

6 Характеристика А. Шифнера (памяти М. А. Кастрена, Л., 1917, предисловие 1—2; Л. Я. Штернберга (ИАН, 1924, стр. 570—572; Памяти Л. Я. Штернберга, Л., 1930, стр. 21—28).

7 Характеристика Я. И. Смирнова (Отчет о деятельности Академии Наук за 1918 год, стр. 3).

8 В. В. Бартольд (ИАН, 1931, стр. 4 — 6).

9 ИАН, 1918, стр. 1762, прим. 2.

10 См., напр., в статье о Коссовиче, стр. 348, 350 — 354, в статье о В. П. Васильеве (ИАН, 1918, стр. 533) или о Н. Ф. Петровском (ЗВО, XX, 1910, стр. 02).

11 ИАН, 1918, стр. 1719 (в отзыве о Ф. И. Щербатском).

12 ИАН, 1918, стр. 532 (в статье о В. П. Васильеве).

13 Ibid., стр. 535.

поколению востоковедов, которое «умело привлекать к востоковедению интересы гораздо более широких кругов»;[1] он высоко их ставил за то, что по своим методам они иногда «были, несомненно, „западнее“ своих преемников последнего времени».[2] Их охват часто представлялся ему преимуществом: «Сузив поле наших работ, мы конечно, достигнем в частностях большего, чем наши предшественники, но мы в значительной степени утратили зато ту ширину кругозора, которая составляла обаятельность их работ».[3] И Радлова, и Керна он называл последними учеными «того поколения, которое умело соединять широту кругозора с углубленностью специальных знаний».[4] Для своего поколения он считал это уже невозможным: «наше время узкой специализации, когда развитие науки требует сосредоточения на небольшом круге вопросов для того, кто желает быть хозяином в избранной им области знания».[5]

В своих работах этого типа по истории востоковедения С. Ф. считал основным не сообщение новых деталей, не полноту фактических сведений, а ту сторону, которая всегда привлекала его больше всего — анализ индивидуального научного творчества, стремление найти key-note научной жизни данного лица.[6] Недаром в одной из своих лучших статей о В. А. Жуковском он подчеркнул это многозначительным подзаголовком: «Попытка характеристики деятельности ученого». Поэтому везде мы здесь встретим принципиальные соображения о роли научной критики,[7] о ее категориях,[8] о понятии самостоятельного исследования,[9] об изучении деталей и углубленном анализе.[10] Нетрудно из этих замечаний было бы составить стройную систему научной методологии, как ее представлял себе С. Ф. И здесь он сумел остаться объективным: немало потрудившись над изучением Китайского Туркестана, он тем не менее оценил голос, предостерегающий против увлечения археологией в ущерб филологии. Он сознался, что «мы набросились на изучение сцены, обстановки, где перед нами бродят пока только тени, а не живые существа, мысли и чувства которых мы могли

[1] ЗКВ, I, 1925, стр. 176 (в статье о И. Н. Березине).
[2] ИАН, 1918, стр. 2060 (в статье о В. А. Жуковском).
[3] ЗКВ, I, 1925, стр. 176 (в статье об И. Н. Березине).
[4] ИАН, 1918, стр. 1236, ср. 1761.
[5] ЗВО, XI, 1897 — 1898, стр. 313 (статья о Г. Бюлере).
[6] Его собственное выражение по поводу своей статьи об И. П. Минаеве в письме бар. В. Р. Розену из Грефенберга 2 июля 1896 г. (хранится среди других его писем В. Розену в Архиве Института востоковедения, см. ДАН-В, 1929, стр. 234, № 117).
[7] ИАН, 1918, стр. 67 (в статье об О. Барте).
[8] Ibid., стр. 2063 (в статье о В. А. Жуковском).
[9] Ibid., стр. 62 (в статье об О. Барте).
[10] ИАН, 1922, стр. 57 (в отзыве о П. Пелио).

бы понять».[1] Он сознавал, что нельзя требовать от ученого, занимающегося изучением персидского поэта, предварительного изучения общественной и умственной жизни эпохи при полной неразработанности этих областей; в противном случае до изучения поэта он так и не успеет дойти.[2]

Общие выводы С. Ф. по истории русского востоковедения крайне мрачны. Достаточно вспомнить те слова, которыми он начинает свою статью о В. П. Васильеве: «Жуткое чувство испытывает тот, кому приходится заниматься историею науки в России: смелые начинания, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд, все это встречаешь с избытком; и тут же приходится отмечать, как все обрывается: длинные ряды «первых» томов, «первых» выпусков, которые никогда не имели преемников; широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего два в сущности с небольшим века этой молодой русской науке, а как длинен ее мартиролог...».[3] Везде мы видим неуменье пользоваться людьми знания,[4] часто у нас бессмысленно гибнет работа долгих лет. Изучение Востока является делом только небольшого кружка людей:[5] сознание «важности и необходимости науки, как основы всякой культуры, ясно в России, увы, весьма еще не многим».[6] Общая «бессистемность, отсутствие планомерности» сказывается, конечно, и на отдельных случаях: «русские ученые действительно страдают от чересчур широкой постановки своих работ».[7] В них «поражает та легкость, с какою пытаются делать широкие обобщения, не имея в своем распоряжении достаточного фактического материала, который однако не трудно было бы найти».[8] Если в 1894 г., изучая французское востоковедение, С. Ф. убеждался, что сравнение всегда не в пользу России,[9] то в 1923 г. он констатировал другое печальное обстоятельство: «Наших ориенталистов больше знают и ценят на Западе, чем у нас, во всяком случае лучше читают, даже когда они пишут, как большинство русских востоковедов, почти исключительно по-русски».[10] При таких мрачных вы-

[1] ИАН, 1918, стр. 2054 (в статье о В. А. Жуковском).
[2] Ibid., стр. 2053.
[3] ИАН, 1918, стр. 531.
[4] Ibid., стр. 534 — 535.
[5] Речь, 1910, 27 апреля (о В. П. Васильеве).
[6] ИАН, 1918, стр. 2043 (в статье о В. А. Жуковском).
[7] Ibid., стр. 2060.
[8] ИАН, 1918, стр. 539 (в статье о В. П. Васильеве).
[9] ЖМНПр., CCXCIII, 1894, № 6, отд. 2, стр. 255
[10] Восток, II, 1923, стр. 150.

водах нетрудно было впасть в пессимизм, но он ни в какой мере не находил себе отражения в деятельности С. Ф. Он констатировал, что время летит и наука движется своим путем.[1] Общий прогресс несомненен и частичные выводы нечальны только относительно отдельных творцов этого прогресса.

Для него было несомненно, что «каждая страна и каждое время имеют, в зависимости от общих условий жизни, свои уклоны научной работы. Это сказывается, конечно, и на востоковедении».[2] «Вместе с революцией должен был естественно появиться и новый востоковед».[3] Эти слова С. Ф. можно продолжить и сказать, что появился и новый историк востоковедения в его же лице. Не переставая интересоваться этими сюжетами, С. Ф. в значительной мере меняет и подход, и даже форму своих работ. Относительно старого востоковедения он иногда высказывает теперь несколько иную оценку, чем раньше, для современного настаивает на новых путях. Он устанавливает, что на Западе идет главным образом изучение прошлого Востока, у нас — изучение современного Востока в целом.[4] На первый план должно быть выдвинуто изучение политики и экономики, на которые раньше не обращалось внимания.[5] За этот период меняется и форма его работ по истории востоковедения. Конечно, среди них попрежнему попадаются отзывы об ученых и их характеристики; особый налет придает им то обстоятельство, что в эти годы С. Ф. приходилось провожать поминальным словом не только своих младших товарищей (как В. В. Бартольд), но и ученых следующего за ним поколения, которое часто могли считаться его учениками (Б. Я. Владимирцов). Однако теперь характерны уже не эти статьи, а обобщения и обзоры состояния востоковедения за известный период. Особенно показательны те, которые возникли в связи с десятилетием Октябрьской революции и вызвали статьи в сборнике, посвященном работе Академии Наук,[6] затем вскоре после этого в большой книге «Общественные науки СССР»[7] и во французском органе востоковедения Journal Asiatique.[8] Здесь уже нет речи о работах индивидуальных ученых. После общей характеристики старого и нового востоковедения С. Ф. старается охватить всю печатную продукцию на всем протяжении Союза и на ней показать

[1] ИАН, 1918, стр. 538 (в статье о В. П. Васильеве).
[2] Академия Наук СССР за десять лет, Л., 1927, стр. 143.
[3] Востоковедение (Общественные науки СССР, 1917 — 1927, М., 1928, стр. 310).
[4] Восток и запад в советских условиях, М—Л., 1931, стр. 14 — 15.
[5] Востоковедение, стр. 310.
[6] Академия Наук СССР за десять лет 1917 — 1927, Л., 1927, стр. 140—154.
[7] М., 1928, стр. 309—340.
[8] Les études orientales dans l'Union des Républiques Soviétiques, JA, juillet—septembre 1929, pp. 117 — 139.

новые установки. Это уже не столько история, сколько хроника, не столько прошлое, сколько современность. Эту работу следует освещать не столько темой «С. Ф. Ольденбург и история востоковедения», сколько «С. Ф. Ольденбург и советское востоковедение».

Обстоятельства сложились так, что история русского востоковедения обыкновенно являлась монополией историков Востока. В XIX в. в этом направлении работали В. В. Григорьев и Н. И. Веселовский: первый с большой долей литературного дарования — нельзя забывать, что он был учеником Сенковского и это отразилось в таких имеющих отношение к востоковедению статьях, как известные воспоминания о Грановском, второй — с преимущественным вниманием к библиографическим и фактическим деталям. Серьезным историком востоковедения в широком смысле явился В. В. Бартольд: он опубликовал и большое количество материалов и оставил два больших обзора, захватывающих все периоды. С. Ф. в своем сообщении в Академии Наук 13 декабря 1930 г. отнесся с некоторой строгостью к его работам; это объяснялось не только тем, что для С. Ф. наступил последний период его деятельности, когда он суровее оценивал старое востоковедение. Объяснялось это и совершенно различной манерой трактовки ими одних и тех же вопросов. С. Ф. не боялся личного и индивидуального подхода в своих статьях по истории востоковедения и с особенной любовью останавливался на анализе личного научного творчества, В. В. Бартольд старался оставаться строго объективным историком, затушевывая всякий личный элемент и иногда переходил в крайность, когда summum jus стоит на опасной границе с несправедливостью. Очень поучительно читать те статьи об одних и тех же лицах, которые иногда приходилось писать одновременно и Бартольду и С. Ф., как, напр., о В. П. Васильеве или В. А. Жуковском, или те статьи, которые они писали совместно, как, напр., об Э. Шаванне. Индивидуальность обоих авторов и различный подход к материалу сказывался здесь в полной мере. Несомненно, что именно работы В. В. Бартольда заложили серьезную базу для истории востоковедения, но этюды С. Ф. составят богатую галлерею изящных портретов и мягкими лучами осветят лабораторию научной мысли.

Л., 24—26 марта 1934 г.

Академик Ф. И. ЩЕРБАТСКОЙ

Академик С. Ф. Ольденбург как индианист

Прошел всего год с тех пор как с этой же кафедры мне пришлось подводить итог результатам научной деятельности академика С. Ф. Ольденбурга в области его прямой специальности, изучения прошлых судеб Индии, ее языка и литературы. Оценка тогда производилась в торжественной обстановке праздновавшегося юбилея и не имела характера окончательной. Приходилось принять в расчет многие работы, начатые, неоконченные и полузаконченные, близкого окончания которых мы могли ожидать. С. Ф. вообще принадлежал к числу людей, от которых ждут долгой жизни. Замечательно крепкий организм его при крайне умеренном, почти аскетическом образе жизни никак не давал повода думать, что жизнь эта оборвется столь скоро. Сам С. Ф. считал тогда, что он как бы прожил только половину своей жизни и что должна начаться вторая половина, когда он, отделавшись от забот и хлопот администрации, отдастся всецело деятельности научной и осуществит в этой области все свои очень многочисленные планы. За все те долгие годы, что наша деятельность в Академии протекала совместно, я не помню ни одного года, который С. Ф. не считал бы последним годом своей административной деятельности. Ее С. Ф. всегда считал обузой. Сердце его лежало к деятельности чисто научной.

Нам остается сегодня пересмотреть в общих чертах результаты чисто научной деятельности, какими они остались после покойного. Поминки эти не будут веселыми, так как на каждом шагу нам придется повторять, что С. Ф. не дал науке того, чего она была вправе от него ожидать и даже требовать. Появившиеся после его смерти некрологи и отзывы (за границей) помогут нам установить, в чем все-таки заключаются чисто научные его заслуги, чем он известен в ученом мире за пределами нашей страны и в чем его значение с более широкой точки зрения всемирной науки. Все отмечают одну крупнейшую его заслугу, за которую имя его высоко ценится и в Европе, и в Америке, и во всех почти странах Азии, на Востоке — Сред-

нем и Дальнем, в Индии, Китае и Японии. Это издание серии Bibliotheca Buddhica, осуществление коей всецело было обязано его инициативе и заботе.

Нам не хотелось бы в сегодняшний день, который Академия постановила посвятить памяти одного из самых выдающихся и глубоко уважаемых своих членов, вступить на путь шаблонного панегирика и восхвалять все то, что им было сделано. Мы убеждены, что память С. Ф. в этом вовсе не нуждается. Напротив, даже ошибки и неудачи такого человека всегда поучительны, и должны быть отмечены историками в назидание как современникам, так и потомству.

В прошлогодней своей речи мне пришлось уже отметить, под какими необыкновенно счастливыми созвездиями проходили ученические годы С. Ф., а также и начало его научной деятельности. Происходя из семьи высококультурной и очень зажиточной, С. Ф., тем не менее, с ранних лет был приучен к тяжелому труду и скромной жизненной обстановке. Все свободные средства родителями были обращены на обучение детей, на дарование им наилучшего, по тому времени, образования. Обучение языкам и владение в совершенстве, по крайней мере, тремя главными языками западной цивилизации — это условие sine qua non для всякого гуманитария — было достигнуто в семье Ольденбургов в наивысшей степени. Это облегчило молодому ученому его задачу, когда он был командирован за границу для подготовления к профессорской деятельности. Он мог вступить в общение с корифеями европейской науки, как равноправный, и воспринять от них непосредственно все то, что западная наука могла тогда дать. А дать она могла весьма много и именно в этот исторический момент.

Научная индология была только что создана тремя гениальными ее основоположниками — одним французом, одним англичанином и одним немцем. Ее развитие пошло параллельно в этих трех странах и подвигалось весьма быстро. Достаточно сказать, что за одно только поколение, в одной только Германии число университетских профессур — ординарных и экстраординарных, где происходит научное изучение и преподавание индологии, поднялось с одной до полусотни с лишком.

Россия также приняла участие в возросшем интересе к изучению Индии. Была основана кафедра индологии и первым русским индологом был проф. И. П. Минаев, учитель С. Ф.

В лице И. П. Минаева русская индология сразу заняла весьма почетное место в общем хоре европейских ученых, трудившихся на этой ниве. И. П. Минаев был знатоком и современной Индии, он три раза посещал

эту страну, собрал в ней богатейшую коллекцию ценнейших рукописей, многие из них издал и перевел, завершил свои труды в этой области большим сочинением по истории буддизма, переведенным и на иностранные языки. Кроме того, он был одним из лучших знатоков исторической географии и наука ему обязана классическим трудом по географии стран, отделяющих Россию от Индии. Это был ученый, широко известный за пределами нашей страны, ученый во всемирном масштабе. Наследником и продолжателем такого ученого и суждено было стать С. Ф.

Когда С. Ф. предстала задача выступить самостоятельным научным работником, индология уже настолько разрослась, что сделать выбор темы для первого большого труда было делом нелегким. Молодой и неопытный ученый легко мог остановить свой выбор на такой задаче, которая по самому существу своему разрешению в данный момент не подлежала. Так и случилось. С. Ф. остановил свой выбор на исследовании индийского фольклора. Отчасти это произошло под влиянием проф. А. Н. Веселовского, влиянию которого более или менее подпадали все наши литературоведы, в какой бы области они ни работали. Но область индийского фольклора при ближайшем знакомстве оказалась столь обширной, океан индийской сказочной литературы оказался столь глубоким, что в нем можно было только потонуть. В прошлогодней моей речи я отметил все крупные достоинства отдельных работ и заметок С. Ф. по индийскому фольклору, но крупной исследовательской работы, какую С. Ф. предполагал написать, ему сделать не удалось. Ему пришлось ограничиться пересказом содержания двух индийских сборников сказок. Это всего менее вина С. Ф., это вина самой темы, которая не могла быть разрешена без целого ряда долгих подготовительных работ. В таком же положении оказались и проф. Якоби и сам проф. И. П. Минаев, и им пока пришлось ограничиться изданием материала для будущих исследователей, путем собрания и пересказа содержания ряда сказочных сюжетов.

В это время, как раз когда С. Ф. стал убеждаться в безнадежности работ в области индийского фольклора для широких обобщений в духе работ А. Н. Веселовского, случилось событие, которое навсегда определило дальнейшее направление его трудов как индолога. Экспедиция, снаряженная Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества, под начальством Д. А. Клеменца и с участием его жены, посетила Китайский Туркестан и открыла там совершенно до того неизвестную богатейшую область разных остатков когда-то процветавшей там чисто индийской культуры. Раз такого рода богатейший район находился почти непосредственно

вблизи русской границы, раз он был открыт русской экспедицией, раз у нас уже имелась тогда научная индология, то кому же, как не русским индологам должна была выпасть на долю обязанность и честь ее исследования. Тогдашнее руководство Академии сочло, однако, нужным поставить предприятие это на международную почву. На Римском международном конгрессе в 1900 г. был сделан академиком Радловым доклад, вызвавший колоссальный интерес и немедленное основание во всех странах особых комитетов по археологическому исследованию Китайского Туркестана. Не обошлось дело и без соревнования и соперничества между разными нациями. В результате, когда экспедиция, возглавляемая С. Ф., двинулась в путь, страна уже была посещена целым рядом экспедиций, которые буквально опустошили край в археологическом отношении. Русской экспедиции, прибывшей на место после других, оставалось только констатировать такое положение и вернуться домой почти с пустыми руками. Между тем, в то же время в Берлине открылся великолепный, богатейший музей находок из Китайского Туркестана, музей, который составляет одно из украшений Берлина и усердно посещается как специалистами, так и иностранными туристами. Все эти богатства легко могли бы принадлежать нам, если бы не целый ряд неблагоприятных обстоятельств, этому помешавших. С. Ф. впоследствии горько жаловался на методы германских археологов, которые в интересах своих музеев не останавливались ни перед чем и готовы были подвергнуть опасности памятник в целом, лишь бы сохранить из него что-либо для своего музея. И в самом деле, немецкие археологи отчасти заслуживают упрека. Их действия не лишены были политики и были даже не совсем корректны. Свои приобретения они не открыли С. Ф. и оставляли его в убеждении, что часть территории, забронированная за русской экспедицией, не тронута ими. Только когда С. Ф. прибыл на место, ему пришлось убедиться в том, что это было совсем не так. То, за чем он приехал в Туркестан, уже находилось в Берлине, и целый ряд ученых уже работал там, жадно набросившись на новый материал. Сам С. Ф. назвал эту свою экспедицию разведочной. Ей пришлось быть разведочной, и разведочной с отрицательным результатом, так как оказалось, что разведанная местность с археологической точки зрения опустошена и больше туда для целей археологии ездить не имеет смысла. И действительно, экспедиции в Туркестан прекратились, между тем как раньше следовали одна за другою почти каждый год.

Наученный горьким опытом, С. Ф. в своей второй экспедиции 1914 г. решил заранее во чтобы то ни стало обезопасить себя от случайностей

которыми всегда сопровождаются археологические поиски, особенно в местностях отдаленных и недостаточно хорошо известных; он наметил, как цель своей работы, один определенный памятник, местонахождение и выдающееся значение коего было заранее хорошо известно, так как он неоднократно посещался европейскими исследователями. Это так наз. «1000 пещер Дун Хуана». Тут на сравнительно небольшом пространстве находился хорошо сохранившийся, можно сказать, естественный музей восточного искусства, содержащий памятники не только одной какой-либо эпохи, но почти всех эпох, в течение коих искусство на Дальнем Востоке развивалось. Верный своему принципу не трогать на месте памятников, если им не угрожает непосредственное разрушение, С. Ф. ограничился их фотографированием. С этой целью в состав экспедиции входили два превосходных фотографа, и материалы, которые она вывезла, состоят поэтому почти исключительно из фотографических снимков. Этот материал не отличается новизной. Как я уже упомянул, место было еще раньше посещено целым рядом экспедиций и среди них такими корифеями восточной археологии, как англичанин sir Aurel Stein и французский академик P. Pelliot. Последний даже обнародовал посвященное этому памятнику большое пятитомное издание «Les grottes de Touen-Houang», Mission Pelliot» (Paris, Geuthner, 1920). Тем не менее, С. Ф. льстил себя надеждою, что его труд не будет повторением прежних работ, так как, во-первых, фотографические снимки, сделанные его сотрудниками, гораздо более совершенны, чем снимки Pelliot, а кроме того, богатство материалов столь велико, что его хватит на много работ и после первой, основополагающей работы Pelliot. Со времени возвращения С. Ф. из второй экспедиции прошло целых 18 лет. Из результатов ее ничего не опубликовано. Несмотря на давление, которое с разных сторон на него оказывалось, несмотря на то, что средства на печатание предлагались как у нас в Союзе, так и за границей, С. Ф. все откладывал начало печатания, ссылаясь на административную деятельность, которая всецело его поглощала. Естественно возникает вопрос, почему С. Ф., раз его административная деятельность не позволяла ему самому приступить к обнародованию своих результатов, не обратился к помощи своих учеников, друзей и сотрудников, которые рады были бы помочь ему. Но тут выступает наружу черта, от которой свободны очень немногие ученые, и от которой С. Ф. вовсе не был свободен. Это—необыкновенная ревность к результатам своей работы. Он желал и надеялся все сделать сам. Даже незадолго до смерти, он относился к этому своему достоянию и к своим будущим работам крайне ревниво, никого к ним не подпуская. В настоящее

время материалы второй экспедиции находятся в руках молодого ученого, сотрудника нашего Эрмитажа А. С. Стрелкова. Им просмотрены как записи С. Ф., которые он делал на месте, так и собрание его фотографических снимков. То и другое, по его мнению, находится в состоянии, допускающем немедленную передачу в типографию для набора и репродукции. Таким образом есть надежда, что мы вскоре увидим напечатанным то, что несомненно является главным большим трудом С. Ф. по археологии. Таковым он и сам его считал.

Но независимо от своих личных исследований, С. Ф. явился также и большим организатором крупных коллективных работ, результат коих изменил все наши представления о культурном значении буддизма и составил эпоху в его изучении.

Еще во время своего заграничного пребывания С. Ф. близко сошелся с проф. Рис-Дэвидсом, который в Лондоне учредил большое международное предприятие по систематизации и изданию литературы южного буддизма. Под влиянием общения с проф. Рис-Дэвидсом, и отчасти по его побуждению, у С. Ф. сложился план сделать то же самое для северного буддизма.

Такое предприятие по своему заданию должно было быть еще более обширным и более сложным, чем предприятие проф. Рис-Дэвидса, ввиду того, что северный буддизм, который вышел из Индии на 1000 лет позднее южного, нес с собою все достижения индийской образованности за 10 столетий, в числе коих были три столетия так наз. золотого века индийской образованности, когда индийская наука, литература и техника достигли небывалого до того в истории Востока развития. План С. Ф. встретил оппозицию среди старшего поколения академиков, но не потому, чтобы они не сочувствовали его цели, а потому, что при крошечных размерах тогдашних кредитов, план этот казался неосуществимым. Тем не менее, С. Ф., опираясь на обещанную ему поддержку русских и иностранных ученых, пользуясь всеми своими связями в ученом мире, внес в Академию Наук предложение о большом международном предприятии — издании серии «Собрания оригинальных и переводных буддийских текстов» под общим заглавием «Bibliotheca Buddhica».

Академия сочувственно приняла это предложение, и издание, начатое в 1897 г. под редакцией С. Ф., по настоящее время состоит из 26 томов, в которых объединено около сотни отдельных выпусков. Весь этот громадный труд, который доставил нашей Академии заслуженную славу в странах азиатских не менее, чем в Европе, прошел при ближайшем участии С. Ф.,

ни один лист не вышел без его внимательной и даже иногда придирчивой корректуры.

Оглядываясь на весь пройденный путь, приходится сказать, с одной стороны, что сделано очень много, с другой же стороны, принимая во внимание грандиозность задачи, нужно сказать, что сделано не все, что работа требует продолжения. Теперь уже, конечно, никто не скажет, что буддийская литература представляется нам в состоянии полной неопределенности. Мы научились отличать литературу религиозную от научной, труды по астрономии, математике, медицине, философии и логике, труды по живописи, архитектуре и технике; а также отличать литературу повествовательную, народную от высокой искусственной поэзии; мы научились понимать интереснейшие трактаты о сущности и форме поэтического творчества.

Мы научились также различать две основные фазы буддизма — начальную, когда он не был религией, а скорее философской системой реалистического плюрализма, и позднейшую, когда на фоне философского монизма он превратился в пышную, католическую религию. Мы научились отличать буддизм собственный от разных чуждых ему по духу теорий, мистических и даже изуверных, которые с течением времени к нему присосеживались и его обрастали. Оглядываясь на все эти достижения, можно, действительно, сказать, что, конечно, сделано немало. Тем не менее, Bibliotheca Buddhica только приподняла завесу над массой еще неизвестной литературы. Когда я в 1923 г. встретился в Лондоне с проф. Рис-Дэвидсом, он в разговоре со мной вполне признал все достижения этого издания, но прибавил, что для того, чтобы вполне справиться с задачей и сделать для северного буддизма то, что сравнительно легко было им сделано для южного буддизма в Лондоне, следовало бы усилия удесятерить, учредить кафедры санскритского языка во всех главных городах Союза и основать сеть исследовательских институтов, и не только на нашей территории, но также и за ее рубежом — в Монголии и Тибете.

Страны Запада основали и содержат такого рода институты в центрах древней культуры — в Риме, Константинополе, Афинах и Египте.

Франция только что основала подобное учреждение в Японии. Германия, вдобавок к существующим на ее территории 22 институтам индологии, содержит институты в Риме и Афинах.

Нашей прямой обязанностью является основание археологических институтов в так наз. «Сериндии», т. е. в Тибете, Монголии и Китае.

Академия Наук постановила сегодняшнее заседание общего своего собрания посвятить памяти С. Ф. Ольденбурга. Я позволю себе при этом

сказать, что чествовать память выдающихся своих членов Академия должна не на словах только, а на деле, и что не может быть лучшего чествования памяти С. Ф. на деле, как возобновление того издания, в которое он вложил всю свою душу и которое доставило заслуженную славу как ему лично, так и всей нашей Академии.

Академик В. М. АЛЕКСЕЕВ

Сергей Федорович Ольденбург как организатор и руководитель наших ориенталистов

I

Есть люди, о которых вспоминают с усилием во дни официальных юбилеев или похорон. О других, наоборот, и в тех и в иных случаях вспомнить не только легко и просто, но надо сделать усилие в совершенно обратном направлении, а именно, дать наплыву своих воспоминаний определенную тему, обрамить их, оформить, сделать их более узкими, но зато и более четкими. Воспоминания о таких людях пишутся целым коллективом, но и им не всегда исчерпываются. Воспоминания такого именно рода относятся к С. Ф. Ольденбургу, тем более, что, даже сузив свою тему до пределов и таким образом устранив из нее все элементы широкой темы об общеорганизаторской научной деятельности С. Ф. (темы, которая равносильна полной его биографии), я все-таки рискую упустить из вида и памяти очень многое существенное, и только то счастливое для меня обстоятельство, что я выступаю со своим очерком после ряда юбилейных речей-статей Н. Я. Марра, Ф. И. Щербатского, М. К. Азадовского и особенно после исключительных по эмоции и выразительности речей И. А. Орбели, — только оно вселяет в меня некоторую надежду, что, действуя в этом коллективе, я более, нежели в другой комбинации, свободен от упреков; кроме того, выступавший недавно и выступающий в сегодняшнем заседании коллективы и дополняли и дополнят меня, легко превзойдя меня и в яркости и в определенности образа отошедшего от нас нашего руководителя. И все-таки я убежден, что даже после наших речей каждый из ориенталистов, который был так или иначе связан с покойным (а таковых определенное большинство), может на эту же мою тему распространиться, наверное, не меньше меня, тем более, что в нее и я, как и всякий другой, принужден внести много мемуарных элементов, научное подтверждение которых будет,

повторяю еще раз, видно в нашей коллективной оценке жизни и деятельности покойного ориенталиста, которого я лично знал 32 года, и таким образом свой мемуарный охват начну с 1902 г.

II

В девятисотых годах востоковедная жизнь начиналась и сосредоточивалась в Петербурге на так называвшемся факультете восточных языков С.-Петербургского университета. Этот факультет, история которого столь подробно и блестяще написана покойным академиком В. В. Бартольдом, как известно, имел довольно сложную и в общем противоречивую конституцию, ибо, с одной стороны, это был факультет университета и, как таковой, должен был жить общеуниверситетскою жизнью науки, с другой же, это было учреждение восточных языков, нужное правительству для выработки дипломатов и администраторов. В соответствии с этой двойственностью, которая впрочем вряд ли была известна как таковая русскому тогдашнему общественному мнению, — и профессора и студенты факультета были двух родов, с явным преобладанием, по указанным мною основаниям, практических дельцов, готовых учить чему угодно и изучать что угодно, лишь бы выдать или получить нужный для «жизни» диплом.[1]

Кроме того, увлекательная и в то же время научно-доброкачественная литература по Востоку в то время почти отсутствовала (я, как и в дальнейшем, буду иметь в виду главным образом свою специальность китаиста), и не удивительно, что на факультет являлись люди, не прочитавшие предварительно о Востоке ни строчки, или ограничившие свои знания о Востоке опереттами «Гейша» или «Сын мандарина», романом «Сад пыток» Мирбо, Клодом Фаррером и т. д. Однако, наряду с этим большинством, приходили на факультет и более серьезные люди типа, например, проф. В. А. Жуковского (в юности), о котором говорит в своем превосходном некрологе С. Ф. (стр. 2041) и который подходил к Востоку от так или иначе продуманного Запада. Но это были редкие единицы.

Двойственный факультет, являвшийся большим диссонансом в общей университетской схеме, обрабатывал поступающую молодежь в двух направлениях, с преимуществом одного перед другим, вызываемого наличностью тех или других профессоров: с одной стороны, читались источники, с другой же — канцелярская шаблонная переписка.

[1] Так, например, я поступил на факультет в 1898 г. в компании 85 молодых карьеристов, мечтавших о карьере конквистадоров в Манчжурии.

Язык понимался, во всяком случае, как некое самодовлеющее целое, как предмет, всем ясный и понятный, причем противоположные друг другу процессы обучения языку и изучения языка были соединены в одно, чему много способствовал случайный подбор лекторов, из которых редкий вполне обладал надлежащими способностями и надлежащим искусством. Таким образом, даже в своей научной части «язык» преподавался с весьма элементарными филологическими, историческими, лингвистическими, искусствоведческими и т. д. методами.[1] При этом сами методы преподавания восточных языков только что начинали вызывать сомнения, которые, кстати сказать, длятся и до сих пор, выражаясь в ежегодно и по многу раз обсуждаемых программах и методах, хотя общий девиз: «элементарным людям (поступающим на факультет) только элементарное» продолжал и продолжает господствовать у большинства профессоров, убежденных в том, что за настоящею наукою, после надлежащего отсева, придут в конце курса наименее элементарные.

Факультет оперировал с нами гимназическим порядком, что подчас определенно высказывалось на первой же лекции.[2] Грамматика плюс словарь плюс перевод из года в год повторявшихся текстов — вот какова была наша учебная программа, отличавшаяся от гимназии лишь качеством словарей и грамматик, которые значительно уступали тем пособиям, к которым мы привыкали при изучении классических языков.[3]

После этого учебного laissez faire наступало для серьезного ориенталиста, оставляемого обычно при факультете «для подготовки к профессорскому званию» — ученое laissez faire, которое выражалось в свободном избрании дальнейшей специальности вплоть до магистрантского экзамена и появления на факультете мало кому известного лица. Востоковедение мыслилось как дисциплина всем ясная и понятная, на основе состава трудно поддающихся изучению восточных языков, и к реформам факультета на иных основаниях до 1905 г. не приступали.

[1] Все это, повторяю, говорится мною в аспекте больших цифр, и в предположении, что даже блестящие школы В. Р. Розена, П. К. Коковцова, Н. Я. Марра, П. М. Мелиоранского оказывали должное воздействие уже вне университетской аудитории.

[2] С этого утверждения начат был курс китайского языка в 1898 г., когда я поступил на факультет.

[3] «Китайская грамматика» Иакинфа Бичурина, не говоря о прочих, была лишь карикатурой на известные мне с детства грамматики латинского и греческого языков; «Китайско-русский Словарь П. Кафарова и П. Попова» не выдерживал никакой критики по сравнению с большими греческо-русскими словарями того времени (Вейсман, Поспишиль). Про издания классических текстов я уже не говорю.

Таким образом, в жизнь вступали новые поколения, которые, в общем, повторяли поколения предыдущие. — Я попрежнему прошу помнить, что говорю языком только больших и круглых цифр и ориентируясь на более прочих известные мне отделы востоковедения. — А когда молодой ученый появлялся в ученом обществе, особенно в Восточном отделении императорского Русского археологического общества, он заставал там считку ученых статей, сопровождающихся мелкими замечаниями, которые обычно не касались существа дела, и полное самодержавное самоутверждение специалиста было общим правилом.[1] Доклад, про себя в кабинете продуманный, как бы про себя же и прочитывался вслух. Общественное научное мнение инкорпорировало новую единицу, добавляя ее к коллекции таких же отдельных единиц, и, пожалуй, этим и ограничивалось. К оценкам специалистов прислушивались с преувеличенным вниманием, за них прятались, особенно в трудных случаях... Laissez faire царствовало нераздельно и неразлучно. Школы включали в себя только специалистов по данному восточному языку, и общий научный язык, если не считать специалистов, сгруппированных тогдашней принудительной факультетской программой (напр. арабско-персидско-турецко-татарского или китайско-монголо-манджурского отделений) как бы отсутствовал. В общем, создавалось такое впечатление, что аудитории нас разобщали, а заседания ученых обществ не объединяли. Один иностранный очень известный ученый ориенталист, хорошо знавший наши порядки, много им удивлялся и говорил, что он бы при них существовать не мог.

Таким образом, вся ставка русского востоковедения была на личности, создававшие свое имя главным образом в печатных трудах, индивидуальным порядком и почти вне общения. Общественное мнение требовало от старших специалистов формального отзыва, главным образом, о познаниях магистранта в языке, считая, что его научное уменье будет доказано в дальнейших диссертациях. Но и после них, в суждениях и оценках старших элемент знания всегда доминировал над элементом умения, и под флагом «он знает» могло проходить многое, с научной точки зрения предосудительное.

Единственно, пожалуй, что так или иначе единило ориенталистов, это было отношение к Востоку и Западу. Так, у одних групп было отношение в Востоку как бы покровительственное. Восток был как бы обрабатываемым пациентом, к которому снисходит данный русский ученый.[2] Эти группы

[1] Даже в выступлениях коллектива ученых по тому или другому вопросу специалист был независим.

[2] См., например, охарактеризованное С. Ф-чем отношение к Востоку Ханыкова, на стр. 2048 его очерка-некролога о В. А. Жуковском.

считали себя европейцами, не подлежащими восточной контаминации, и от Востока достаточно иммунизированными. Восток был материалом для переработки и перегонки в западные формы. Другие группы, наоборот, подвергались, или вернее подвергали себя полной контаминации, становились патриотами изучаемой страны и считали знание ее языка вообще единственным мерилом всех научных ценностей.[1] Таким образом, наслоение ориентализма на интеллект изучающего происходило как бы в двух фазисах: в фазисе надстройки и в фазисе фундамента. Но и в той и в другой группе русских ориенталистов высокомерие было едва ли не господствующим мотивом; оно было, к тому же, едва ли не соединено, в особенности в отдельных примерах, с общим основным дилетантством в области европейской культуры, дилетантством, иногда близившимся к tabula rasa.

Вообще, отношения русских ученых к Востоку и к изучающему его Западу были часто совершенно ненормальными. Так, с одной стороны, высокомерное пренебрежение к западным собратьям доходило иногда до того, что русский ориенталист издавал вещи, слишком явно уступавшие западным и давным-давно там изжитые,[2] с другой стороны, наоборот, явно предпочитал присоединиться к западной обработке восточных материалов, включая сюда и соответствующую идеологию.[3]

Вся эта douce anarchie (по выражению французских писателей о России) вряд ли была так безобидна. В некоторых некрологах, принадлежащих Сергею Федоровичу, встречаются весьма красноречивые нарекания, и просто жалобы на русскую анархическую, беспомощную в слишком многих отношениях науку. Так, в некрологе В. А. Жуковского (стр. 2060) он жалуется на русских ученых, страдающих от «чересчур широкой постановки своих работ, которые слишком часто приводят к тому, что или ученый умирает, оставляя великолепный, но незаконченный фундамент, на котором другие не могут строить, или просто распыляет свою ученую деятельность

[1] С. Ф. в своем весьма мастерском очерке деятельности акад. В. П. Васильева (Изв. АН, 1918, № 7, стр. 533) отмечает совет наставника В. П. проф. Ковалевского «хранить беспристрастие, необходимое для научной работы, и не делаться ни «китайским патриотом», ни «китаененавистником». — Инструкция, повидимому, исходила из живых фактов.

[2] Таковы, например, учебные издания «Китайских хрестоматий» (3 части) примечаний и переводов к ним проф. В. П. Васильева, неизмеримо отстававшие от английских изданий и переводов, доселе сохраняющих свое значение (Legge, Chinese Classics, издав. с 1861 г.). Однако, как известно, бывали примеры и другого порядка, когда, наоборот, русские издания по востоковедению опережали западные (хрестоматия Розена и Гиргаса). Вообще, в тогдашнем калейдоскопе ориенталистов нелегко проследить общую линию.

[3] Таковы мечтательные книги проф. С. М. Георгиевского. По свидетельству С. Ф-ча (в некрологе А. О. Ивановского), А. О., в конце концов, отошел от влияния на него В. П. Васильева и усвоил себе исключительно европейскую ориентацию.

так, что потом и сам ничего цельного и большого собрать не может». Цитирую С. Ф. без оговорок, ибо нельзя было лучше выразить этой горькой истины. В одном из некрологов акад. Васильева[1] он начинает свое трагическое повествование об этом столь крупном и столь несчастном ученом с не менее вещих слов о русской науке: «Жуткое чувство, пишет С. Ф., испытывает тот, кому приходится заниматься историей науки в России: смелые начинания, глубокие мысли, редкие таланты, блестящие умы, даже кропотливый и упорный труд, все это встречается с избытком; и тут же приходится отмечать, как все обрывается: длинные ряды „первых" томов, „первых" выпусков, которые никогда не имели преемников: широкие замыслы, застывшие как бы на полуслове, груды ненапечатанных, полузаконченных рукописей. Громадное кладбище неосуществленных начинаний, несбывшихся мечтаний. Всего два в сущности с небольшим века этой молодой русской науке, а как длинен ее мартиролог»...

Из этой скорбной песни точно так же ни слова не выкинешь. Таким образом, русское востоковедение в своем центральном местопребывании разделяло общую судьбу тогдашней русской культуры, шедшей как бы толчками и скачками, порой весьма анархическими путями, и намывавшей какие-то мели для какой-то постройки, но с таким же чувством их же и размывавшей.

К этому следует еще прибавить, что на факультете заседали, едва ли не в большинстве, ученые люди с весьма обывательским кругозором, заботившиеся о своей и о русской науке вообще гораздо меньше, нежели о своем буржуазном благополучии, поэтизирующем вещи и удобства, а их голос иногда доминировал среди голосов либералов-прогрессистов, составлявших передовую группу. Эти люди, державшие в своих руках судьбы своих преемников, не могли способствовать вырастанию русской науки из полосы постоянных ее катастроф, столь метко и с таким чувством описанных не раз С. Ф-чем.

III

Отсюда ясно, что делу могли помочь лишь надлежащие организаторы, борцы за научную идею, независимо от ее материала и приложения, люди синтеза, воли и особо прирожденной деликатности, которая позволяла бы, ничем не раздражая сурков, готовых сейчас же реагировать на раздражение бесповоротным уходом в свои норы, все же добиваться от них какого-то общественного служения, во имя некоторого единства науки и научной

[1] Изв. РАН, 1918, № 7, стр. 53.

деятельности. Вот эту именно роль организатора русского востоковедения и взял на себя С. Ф., взял ее на всю жизнь, которая могла, ведь, при его исключительных дарованиях, расцветиться в его индивидуальной сосредоточенности всеми яркими цветами громадного научного творчества, но была принесена вся целиком в жертву всем другим, всем нам.

Правда, в университете к этому времени С. Ф. уже не преподавал, и вводные курсы, предназначавшиеся для напутствования и руководства востоковедов, были поручены весьма почтенному ученому археологу, но лектору без всякого, даже элементарного дарования и без какого-либо подхода к ежегодно обновлявшейся аудитории. Можно определенно утверждать, что если бы эти курсы взял на себя С. Ф., то очень много талантливых юношей, бежавших опрометью из наших скучных, тусклых, бездушных аудиторий, были бы спасены и направлены к научному чувству, к научному вдохновению, к научной работе.

Организатор по призванию и темпераменту, С. Ф. прежде всего с большою настойчивостью и с редкой у нас инициативой, которая была порой чрезвычайно трудною и щекотливой, добивался регулярных связей со старшим поколением востоковедов, о котором он неоднократно писал с большим иногда, пожалуй, преувеличенным уважением хорошо и тепло. «Это было поколение, — пишет он в своем первом некрологе акад. В. П. Васильева,[1] — открывшее целый дотоле неведомый мир, столь отличный от западного, что изучение его часто налагало на мышление исследователей совершенно своеобразный отпечаток. Для того чтобы хоть сколько-нибудь понять этот мир и войти в него, требовалось такое разнообразие и такая широта знания, что нам теперь представить себе трудно, как отдельный человек был в состоянии овладеть таким материалом. Но если бы мы стали судить ученых этого поколения на наши современные мерки, мы бы легко впали в ошибку и не поняли бы громадных заслуг этих людей перед наукою». Отдавая таким образом должное статическому знанию, С. Ф., однако, признавал за ним и более деятельную ориентацию на научное уменье европейского типа. Так, в своей «попытке характеристики деятельности ученого» (В. А. Жуковского) (стр. 2060) он отмечает не без понятного удивления, как «этот русский из русских был, как нам приходилось не раз отмечать, гораздо ближе многими своими чертами как ученый к западным своим товарищам,[2] чем к своим соотечественникам. В этом отношении

[1] Некролог читан в заседании Академии Наук 13 мая 1900 г., тотчас после смерти академика, и напечатан в «Зап. Вост. отд. Русск. археол. общества», т. XIII.

[2] Что не мешало, однако, по свидетельству современников, этому ученому переписываться со своими английскими коллегами... по-персидски.

он напоминал и старых русских востоковедов, которые были, несомненно, «западнее» своих преемников последнего времени». Во всяком случае, С. Ф. относился к своим учителям и старшим с совершенно исключительным вниманием, желая их преемствовать достойно, а не выскакивая каким-либо парадоксальным homo novus, подлежащим трудному, медленному, не всегда окончательному освоению окружающею его научной средой. Он искал с ними наибольшего сближения и, при их утере, сейчас же откликался необыкновенно прочувствованными некрологами.[1] Так, он старался сблизиться с угрюмым и тяжелым по характеру, но большим ученым буддологом акад. В. П. Васильевым, и не без грусти можно читать его скорбные строки в «Очерке памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму»[2] (стр. 538). «Я хорошо помню — пишет он — как ошеломляюще действовал его безбрежный скептицизм на наши молодые умы и как невольно рождался протест против этого бесплодного, убивавшего творчество отрицания».[3] И тем не менее, С. Ф., и только он, понял до конца всю трагедию жизни этого ученого, переведя загадочный язык его убеждений в понятную и полную значения речь, написав о нем ряд некрологов, свидетельствующих об осуществившейся, несмотря ни на что, их связи, связи учителя с учеником и друга с другом. Другой пример такой трудно дающейся и тяжелою ценой покупаемой связи с учителем дает нам история его долголетнего общения со знаменитым нашим иранистом и его ближайшим учителем академиком К. Г. Залеманом, о котором мы все слишком часто слышали от него теплые искренние слова, чтобы забыть их на общем фоне отношений этих двух столь противоположных и противупоказанных к дружбе людей. Он считал этого ученого, преподававшего лишь крайне редким единицам, притом далеко не каждый год навещающим его аудиторию, образцовым учителем и ученым, преемство которому считал своею честью и обязанностью.

Однако русскими учеными далеко не ограничивался состав ориенталистов, которых С. Ф. считал в числе связанных с ним в научном деле и в научном чувстве учителей. Как раз, наоборот, — именно за границей он нашел таких лиц, как Бюлер, Вебер, Пишель, Барт и много других,

[1] Так, его перу принадлежит ряд некрологов, один другого совершеннее: Минаева, Васильева, Залемана, Радлова, Березина, Потанина, Пржевальского.

[2] Изв. РАН, 1918, № 7.

[3] Как ученик того же самого академика, могу больше, чем кто иной, засвидетельствовать безграничную правоту С. Ф. Объективным же и еще более грустным, чем личное, свидетельством этого тлетворного духа является вся история русской китаистики, и поднятой и надолго забитой одним и тем же ее учителем.

с которыми он постоянно общался в своих поездках за границу, или вел оживленную переписку, издание которой было бы для истории мирового востоковедения научною, ценной находкой. На их смерти он точно также всегда считал своим долгом откликнуться, и когда читаешь его блестяще оформленные глубокие оценки этих ученых, сразу видишь, какая разница между такою живою картиной живой жизни и некрологом, скомпилированным наспех по списку трудов умершего, разбитому на части и комментированному в размере элементарной компетенции. Так, например, в некрологе Огюста Барта,[1] в этом маленьком шедевре, посвященном ученому, которого С. Ф. во всей искренности считал настоящим, даже идеальным индианистом, мы можем ясно прочувствовать всю сложность отношений этих двух тонких людей,—отношений, дающих науке больше, чем сотни и тысячи оформленных, готовых и достаточно нейтрализованных страниц книги.

IV

Связанный таким образом со всею плеядой крупных востоковедов Запада, принадлежавших к поколению его учителей, — а это слово он всегда произносил с благоговением и благодарным чувством, — С. Ф., с исключительным, но столь свойственным ему усердием, и полный того предупредительного,открытого, твердого и приветливого дружелюбия, которое слишком всем нам известно и о котором мы так тосковали в те первые тяжелые дни его утраты, — полный лучших чувств и готовый поступиться чем угодно, даже из средств крайнего и последнего кредита человеку — С. Ф. искал связи со своими сверстниками, стараясь и сам втянуться в их работу и их втянуть в научную общественность. Он старался вытащить их, своих товарищей и друзей, из их кабинетов, где они, по примеру старших, старались забронироваться от неудобных им сквозняков, наполнить их мировою научной атмосферой, призвать к общей работе, в которой одна специальность связана с другою по плану, диктуемому временем и научными открытиями, от которых подлежит не обороняться, а учиться и к ним примыкать, чтобы плыть в потоке века, а не в болотной канаве. Н. Я. Марр[2] свидетельствует, — как один из друзей, товарищей и современников С. Ф., — что уже по выходе из студенчества С. Ф. сумел «организовать молодежь, искавшую свежих знаний, и делился своей широкой осведомленностью по востоковедной и вообще литературоведной работе на Западе». Не знаю, как другие коллеги, но я не запомню ни до меня, ни после моего выхода из университета

[1] Огюст Барт. Некролог, Изв. РАН, 1918, февраль.

[2] См. Юбилейный сборник, 1933 г., стр. 10—11.

никого, кто мог бы сыграть такую роль среди своих товарищей, пожелал бы потратить на это время и усердие, столь нужные тогда каждому из нас для быстрой подготовки к магистерскому экзамену и к двум диссертациям, для своей личной жизни и для своего личного успеха.

Таким путем С. Ф. был тесно связан со своими товарищами и современниками, организуя их в поколение, имеющее лицо, — все при помощи своего удивительного умения подойти к каждому, не вторгаясь в уклад его жизни, не враждуя с его особенностями, не мстя холодностью за неответ на приветливость, и вообще тщательно, какою угодно ценой, ища научного братства, в которое он верил до конца жизни.

Так же, как и в сношениях со старшим поколением, С. Ф. и в сверстниках своих не ограничивался соотечественниками, а понимал дело организованного сближения гораздо шире, и выражение «мы работали и работаем вместе», в применении к сверстникам-иностранцам было ему весьма свойственно. Особенною его любовью и дружеским почитанием пользовались благополучно здравствующие поныне профессора Леви (Sylvain Lévi) и Томас (F. W. Thomas): они свидетельствовали и свидетельствуют о той товарищеской инициативе сближения, которую С. Ф. распространил и на них, как на соотечественников.

Особенно характерно быо влияние С. Ф. на его друга и моего учителя А. О. Ивановского, которого он сумел отвлечь от гибельных теорий акад. В. П. Васильева и добиться вывода его на более свежую воду. На почве буддологии он работал с ним рука об руку и, вероятно, добился бы превращения этого гениального по способностям китаиста в крупного ученого, если бы не тяжкий недуг, сведший А. О. в преждевременную могилу. Совершенно чуждый какой-либо зависти, а тем более профессиональной, С. Ф. старался всех своих сверстников так или иначе поставить по крайней мере рядом с собой, и мы видели пример того, как он, при крайней скудости востоковедных кафедр в Академии, провел в нее своими блестящими аттестациями — кстати сказать, более чем заслуженными — своего коллегу индианиста. Редкость подобной инициативы очевидна, конечно, не одному мне.

V

Однако весь избыток своей энергии С. Ф. избрал потратить не на старших и сверстников, а на младшее поколение. Ему слишком хорошо была известна обстановка канцелярского факультета восточных языков, в которой выживали действительно наиболее к ней приспособленные, не

всегда совершенствуя, однако, своего вида. Уйдя сам от непосредственного преподавания, он сумел организовать в течение долгих лет и на долгие годы всю ту молодежь, что выходила из факультетских аудиторий ошарашенною и беспомощною. Ее он понимал больше, чем кто другой, ибо хорошо запомнил свои факультетские дни, о которых он много нам рассказывал и которые часто отравляли ему воспоминание об учебных годах. Сам будучи, так сказать, из породы людей новых (вне перевода этого выражения с латинского), ушедших навсегда от рутины и ферулы матерых факультетских знатоков, С. Ф. устремлялся, как всегда, сам навстречу всякому начинающему ученому, независимо от его специальности. Я лично никогда не забуду тусклого дня в полуподвальном помещении Азиатского музея, где я занимался, когда в музей вбежал молодым аллюром застегнутый наглухо розовый профессор и, осведомившись обо мне у ученого хранителя, быстро подошел и с чарующей любезностью сказал: «Ольденбург. Буду рад вас видеть, заходите (назначил день и час), побеседуем». Не знаю, как мои коллеги, но подобного отношения к себе, длившегося с тех пор вплоть до кончины С. Ф., я уже ни от кого не видел. Ведь, нужно же представить себе тогдашнюю обстановку, в которой, по характерному и более чем справедливому определению акад. Н. Я. Марра, человек, в звании «оставленного при университете» был, так сказать, «из беспризорного класса молодых научных работников», до знакомства с которым титулярии обычно даже не спускались. В такой обстановке куда легче было и дышать и разбираться, когда авторитетный ученый, без всякого меценатства и патроната, дарил начинающего, в порядке аванса и кредита, своим предупредительным дружелюбием.

Кроме того, любовь к молодежи у С. Ф. отнюдь не была демагогическим лозунгом, или показным труизмом, как у столь многих иных, и точно так же лозунг смены, который не сходил с его уст в революционные годы, нам, знавшим его у С. Ф. и раньше, не был нов.

Раз взяв молодого человека в свой научный оборот, С. Ф. старался не выпускать его из поля зрения, постоянно приглашал к себе на дом, для совершенно простой и откровенной, но отнюдь не обывательской и не пустой беседы. Очень многих таких «беспризорных», вроде, например, меня,[1]

[1] Весь университетский курс был для меня сплошной неудачей. В. П. Васильев умер, не дав нам, по своей дряхлости, буквально ничего. А. О. Ивановский сошел со сцены вместе с ним, точно так же оставив всех нас в полном недоумении. Д. А. Пещуров по старости тяготился преподаванием, давал мало часов и не справлялся с преподаванием. А. М. Позднеев покинул преподавание в Петербурге тоже еще в 1899 г. Как счастливо вышло, что как раз среди такой растерянности ко мне обратил слово привета С. Ф.!

С. Ф. сумел вызвать из полосы отчаяния и унылого бессилия перед попытками к самостоятельному научному творчеству. Всем нам он, во всяком случае, привил противоядие от факультетского холодного стереотипа и направил в широкие международные горизонты.

Но особенно он был ценен в качестве напутствующего тех, кто собирался ехать в Европу или на Восток. Начать с того, что он первый старался эти поездки устраивать. Однако и при казенных командировках оставленных при университете он пользовался своими связями на факультете, чтобы дать командировке надлежащее направление. Так, при общем желании специалистов направить меня в 1904 г. прямо в Китай, он настоял на том, чтобы я перед этой поездкой непременно побывал на Западе, куда я и направился, снабженный его рекомендациями и аттестациями, сыгравшими на каждом моем шагу решающую роль. Таким же порядком был впоследствии ориентирован и наш безвременно погибший сочлен, акад. Б. Я. Владимирцов, а равно и многие другие. Всех нас С. Ф. сумел повернуть лицом к научной жизни как раз в ту минуту, когда анархическое коснение старших уже готово было заключить нас в свои верные, сотней лет испытанные объятия.

VI

Как известно, С. Ф. сам в Индии, — в стране своего непосредственного интереса, — никогда не был, как не были в соответствующих странах и другие выдающиеся ориенталисты (В. Р. Розен, Stanislas Julien, Abel Rémusat, R. Piscell и мн. др.). Тем не менее, своей позиции он не защищал. Наоборот, всегда об этом горевал, и всеми силами старался заводить переписку с деятелями на местах. В своем некрологе Н. Ф. Петровского[1] он с необыкновенной силой убеждения рассказывает историю подобных отношений, результатом которых, как известно, были все успехи С. Ф. в Ср. Азии. И даже все сколько-нибудь интересующиеся наукой наши дипломаты на Востоке (Петровский, Колоколов, Соков, Кротков, Лавров, Дьяков и т. д.) были с ним в оживленной переписке, производя по его инструкциям изыскания и снабжая его и всех нас добытым материалом. Много надо было иметь такта и убеждения, чтобы организовать восточников этого порядка, которые на Востоке быстро заменяли свою растерянность начинающих самоуверенностью знатоков. Наконец, Азиатский музей был свидетелем его собраний по вопросу об организации наших институтов в азиат-

[1] Памяти Николая Федоровича Петровского (1837—1908). Зап. Вост. отд. имп. Русск. археол. общ., т. XX.

ских странах зарубежного Востока, идея, ему особенно дорогая и, к сожалению, пока не осуществившаяся.

Внимание С. Ф. к людям на местах простиралось с особенной, пожалуй, силой на восточных людей, которых он точно так же стремился вызволить из национальной рутины и втолкнуть в международную жизнь науки. Они были ему те же друзья и так же дороги, как русские и европейцы: этот человек обладал идейною нивелировкой больше, чем кто другой. Мы, конечно, все знаем, как, например, приняв участие в двух бурятах, едва не попавших в миссионерские объятия, С. Ф. воспитал их научно и выработал из них очень сильных и серьезных научных деятелей, до сих пор всеми нами уважаемых. Я, конечно, говорю о Цыбэне Жамцарановиче Жамцарано и Бадзаре Барадийновиче Барадийне, не упоминая о проф. Цыбикове и других. Мы все также знаем, что имя С. Ф. на Дальнем Востоке было окружено ореолом: его чтили все националы, с которыми он только ни сталкивался.

VII

Таким образом, организаторская и руководительская деятельность С. Ф. распространялась во все стороны и обнимала собою всех идущих на его призыв востоковедов. Рассмотрим теперь его как тип организатора, его принципы и методы воздействия.

Не оставивший, повидимому, после своей смерти никаких дневников (кроме научно-экспедиционных, конечно) и мемуаров, С. Ф., при своей открытости, не мог конечно не высказываться о месте организаторской деятельности ученого среди всякой другой, и я думаю, что он писал pro domo sua нижеследующие строки из очерка, посвященного памяти и характеристике проф. В. А. Жуковского (стр. 2043): «...В то время, как ученые на Западе, благодаря более культурному общему уровню, имеют возможность всецело отдаваться научному труду, в России к ученым, хоть сколько-нибудь отзывчивым к нуждам общей культуры, предъявляется столько требований, что ученая работа их постоянно прерывается, не говоря уже о том, что и обеспечение науки и научных работников в России зависит и зависело от ряда случайностей, и в значительной мере от произвола власть имущих, ибо сознание важности и необходимости науки как основы всякой культуры, ясно в России, увы, весьма еще немногим». Если откинуть жалобу на необеспеченность научных работников, которая подавалась отнюдь не от лица писавшего, то я думаю, что нельзя было лучше охарактеризовать самого С. Ф., как человека отзывчи-

вого к нуждам общей культуры, хотя и эта характеристика далеко еще не полна, и С. Ф. не хотел, очевидно, ее распространять за пределы конкретного случая, им описываемого.

Русскою неорганизованностью и анархией, требующей вмешательства именно таких, как он, отзывчивых людей, С. Ф. возмущается печатно и не раз. Так, в статье 1918 г. об акад. В. П. Васильеве (стр. 534) он жалуется на «наше неумение организовать дело и пользоваться людьми знания: на Западе мы постоянно видим, как появление выдающегося специалиста является стимулом для предоставления ему возможности, путем создания кафедры, образовать школу, у нас же мы видели, с одной стороны, пустующие кафедры, с другой — специалистов, не находивших применения своим знаниям».

В частности, его удивляет неорганизованность в такой казалось бы стройной науке, как буддология, находившая себе адептов среди очень крупных ученых, и он опять возмущается судьбою научной инициативы В. П. Васильева и его наследия, явившейся все тем же печальным результатом русской неорганизованности.

В некрологе китаиста проф. Шаванна[1] (стр. 1778) он с особым удовлетворением подчеркивает убеждение этого крупного специалиста во «вреде для правильного развития науки от крайней индивидуализации отдельных ученых», и далее утверждает, что «небывалый рост науки в XX столетии сделал совершенно необходимыми организацию и планомерность в научной работе, и те дисциплины, которые еще недостаточно восприняли эту, казалось бы, самоочевидную истину, являются в настоящее время отсталыми».

Таким образом, и это уже показывает, насколько С. Ф. был убежден в необходимости организаторской деятельности среди русских ученых. Эту миссию он взял на себя и выполнил ее с честью, как никто из нас ее выполнить бы не мог.

Начиная с того, что, отдавшись идее и делу организации, он не пошел по стопам многих других quasi-организаторов, делающих это дело как бы между делом и не особенно-то поступающихся своим собственным делом и нужным для него временем. Уйдя из университета, он, как я уже говорил, всегда искал случая сблизиться с начинающими учеными. Когда же он был избран непременным секретарем Академии, то он внес в понимание этой должности совершенно новые начала, и с 1905 г. можно утверждать, что деятельность Академии вступила в новый фазис. Гуманитарной

[1] Изв. РАН, 1918, № 16.

науке он, конечно, посвящал особые заботы, как ни трудно это было делать при тогдашнем и доселе продолжающемся преобладании наук физико-математических. В частности, востоковедению он мог уделять времени менее всего, и факт тот, что для этой группы дисциплин у него находилось чаще всего только время ... отдыха.

И действительно, С. Ф., и по своей убежденности и по своей деятельности, тогда же занял среди востоковедов Петербурга совершенно особое положение, выработав в себе тип организатора, к которому следует присмотреться поближе. Ассоциируя это слово этимологически, можно с полным правом утверждать, что он понимал организаторскую деятельность как некую соединительную ткань между живыми, но чуждыми друг другу организмами. Это был организатор-тип, вдохновитель, инициатор, руководитель, учитель, воспитатель, товарищ и друг, — the right man on the right place, как совершенно правильно, если только вообще достаточно, выразился о нем в своей юбилейной речи-статье Н. Я. Марр. Это был организатор наиболее совершенного типа, стоявший чаще всего значительно выше организуемых им ученых, умеющий сам делать то дело, к которому он их звал, и лучше, и быстрее, и надежнее. Вместе с тем, соглашаясь с горечью в некрологе Н. Ф. Петровского, что этот ученый «как все люди действия, писал мало», С. Ф. вряд ли имел основание включить в число таких не пишущих людей и самого себя, ибо он сам писал много и чрезвычайно разнообразно. Нужно же все-таки помнить, что, во-первых, организаторская его деятельность требовала большого официального писательства (чего стоят одни его ежегодные отчеты по Академии, приготовленные и обработанные строчка за строчкой им самим, совершенный продукт научной современности!); так что, если собрать все то, что он написал, написал с чрезвычайной продуманностью и одаренностью, но что лежит в емких шкафах различных канцелярий, и прежде всего, в канцелярии самой Академии, то эта ценная документальная литература наверное превысит продукцию любого ученого; а во-вторых, если подсчитать, сколько времени потрачено им на чтение и исправление чужих работ, вовсе его не касавшихся, но им приведенных в должный вид, то окажется, что эта коллективная продукция, оставившая одного из членов коллектива анонимным и аморфным, при известной всем нам быстроте работы С. Ф. могла бы с другим поворотом руля привести к значительному усложнению и без того огромного списка его работ. Впрочем, ни мне ни кому другому не пристало выступать в роли апологета С. Ф., наследие которого в апологиях не нуждается.

Типичным для С. Ф., как организатора, является его постоянное, бодрое и настойчивое открывание людей как при жизни, так и по их смерти, когда он не хотел ограничиваться официальным некрологом, а писал убедительные, исторически важные характеристики. Он создавал положение всем тем, кого считал достойным и подходящим, даже среди общих возражений, но никто никогда не знал его креатур, ибо принцип «the right man on the right place» был ему, джентльмену с головы до ног, свойственен в самой чистой своей культуре. Впрочем — за одним исключением: находя в себе большое мужество кого-либо отстаивать, этот доброй души человек не находил в себе твердости кого-либо губить.

VIII

Сказанного достаточно, кажется, для обрисования типа организатора, каковым был С. Ф. Никто и никогда не распорядился бы так своею жизнью, как он, и его самоотвержение должно быть отмечено как типичное и для него и для созданной им деятельности.

Однако, как я уже говорил, в организаторский тип С. Ф. мощною струей входит тип учителя, руководителя, воспитателя, о котором он сам очень хорошо говорит все в том же очерке деятельности В. А. Жуковского (стр. 2040): «...Учительство требует известной экспансивности, известной властности, навязывающей, хотя бы в самой культурной форме, свое «я» другому, решимости брать на себя инициативу людских отношений, житейски говоря, итти, когда не зовут...» Я думаю, что это и было его credo: здесь он высказался полностью, и здесь разница между ним и преподавателями-бюрократами, которых принято называть учителями лишь по иерархической и возрастной дистанции, да и то или в юбилейном маразме, или в похоронном обязательном пиэтете.

Он был враг принципа laissez faire, господствовавшего, как я уже указывал, на Факультете восточных языков, и его деятельность, как антипод этой деятельности бюрократов, можно будет, я полагаю, назвать деятельностью ученого воспитателя ученых.

Н. Я. Марр в своей юбилейной речи назвал С. Ф. «неугомонным деятелем по научно-организационным предприятиям, при многосторонности интересов и научных исканий». Это тем более справедливо, что также входит в тип организатора и руководителя, созданный С. Ф. среди нас: он именно был неугомонным организатором, далеким от типа организатора-сибарита, заседающего в собрании, дающего даже лозунг, но затем предоставляющего исполнение протокола секретарю и переписчицам. Нет, раз загорев-

шись инициативой, он от нее не отступал, он бывал чрезвычайно (но, конечно, не чрезмерно) настойчив и прослеживал выполнение своих заданий до конца. Вместе с тем он никогда не был патриотом исключительно своей инициативы, часто он увлекался и чужою и, раз увлекшись, также деловито ее обрабатывал. Наконец, он обладал талантом побуждения к инициативе, — которая, вообще, была всегда в порядке его дня, — даже самых косных и инертных людей, и без его участия, думается мне, многое осталось бы в том самом недвижном состоянии, против которого он так горячо всегда ратовал.

Как руководитель научных предприятий, С. Ф. был особенно на месте и незаменим. Для примера (ибо перечень всех этих предприятий пока не в моей программе) приведу знаменитые экспедиции П. К. Козлова, которые были и намечены и вдохновлены и руководимы во всех своих статьях и направлениях С. Ф. Как известно, вообще экспедиции куда бы то ни было, а тем более в Азию были его детищем.

В результате всех этих инициаторских мероприятий, проводимых с упорством и неотступностью десятками лет, С. Ф. как бы прирос к созданному им же для себя амплуа организатора: он стал везде желанным необходимым руководителем. Без него вообще не обходилось ни одно крупное академическое предприятие, а, как мы все знаем, его деятельность давным давно переросла даже ту академическую, которую он расширил за время своего управления Академией до полной ее неузнаваемости. Он считал себя человеком трезвой практики, и в той части, которая касалась его предприятий, он был безусловно прав, ибо никогда не создавал предприятий благодушно-химерических, о которых приятно по-маниловски совместно помечтать и после этого со вздохом очарования или разочарования разойтись. Все его предприятия опирались на наличность сил и возможностей — и почти все удавались с честью для науки и для их организатора.

IX

Остановлюсь теперь на некотором опыте характеристики тех принципов отбора людей, которого, вероятно, держался С. Ф. В первую очередь его, естественно, интересовали востоковеды, так или иначе группирующиеся возле Академии, а он старался именно к Академии привлекать всех научно способных ориенталистов. Однако ими он отнюдь не ограничивался, и в район его притяжения попадали как все представители его собственных специальностей, т. е. индианисты, тибетанисты, иранисты, буддологи, так и все изучающие Среднюю Азию и Сэриндию, археологи и искусствоведы

со стороны, поэтологи, фольклористы (особенно сказочники всех толков и типов), путешественники, особенно школы Пржевальского, музееведы, и многие другие, т. е. иначе говоря, очень многие представители гуманитарных наук, обычно в одном человеке не единящихся. Для других специальностей он высоко ценил рекомендацию уважаемых им специалистов, но не прятался за нее, как это очень часто делалось, а относился к ней объективно и с должною критикой. Люди с новым образом мыслей интересовали его прежде других, и вообще новое востоковедение, поскольку этот термин имеет сам на себя право, идет целиком под его знаменем. Особенно действительна была его помощь тем из нас, которые, вроде меня, например, по выходе из университета, чувствовали себя смущенными и растерянными, без рукодителя и твердой программы. Многие из нас ему вообще обязаны всем, что имеем.

Гораздо труднее охарактеризовать тот общий тип людей, которыми интересовался С. Ф. и которых он брал в свою обработку, ибо, право, наметить их группы я был бы не в состоянии. Повидимому, вообще все востоковеды, и за ними и столь многие, так или иначе к ним примыкающие, как-то имели на него право. Но он шел еще гораздо дальше и утверждал, например, что в каждом человеке, вообще, есть интересное: надо только добыть его внимательным к нему отношением. Всякий видел невероятное разнообразие людей, к нему приходивших, с которыми он имел терпение беседовать; и даже печатно (в некрологе А. В. Потаниной) он умилялся вниманию своих друзей к совершенно не интересным людям. Мне известны примеры, когда он добивался установления прекрасных отношений с нелюдимыми и застенчивыми, даже когда эти люди определенно его сторонились и избегали. Он брал от каждого то положительное, что этот каждый в себе имел, и во имя этих крупиц охотно мирился с трудными характерами: более того, всегда их защищал, если на чашке его весов были гири какихлибо их достоинств. Ставке на сильных он был определенно чужд, склоняясь скорее к обратному, что вызывало во многих разочарование, недоумение и критику его выбора друзей. Факт, конечно, что он в людях ошибался, но, во-первых, не так часто, а во-вторых, всегда в сторону переоценки, но не недооценки. Но можно указать определенные категории людей, к которым С. Ф. относился недружелюбно: это были люди скрытные, интриганы всех толков, рутинеры, виверы, карьеристы, безраздельные обыватели и т. д. В ученом С. Ф. допускал двойственную природу, но в таком случае требовал больших научных достоинств, которые могли бы уравновесить видные ему недостатки.

Понимание как можно большего числа востоковедов (и всех других ученых, конечно) стояло у него в плане. Он интересовался и читал не только то, что бывало ему принесено, но требовал, чтобы ему давали рукописи, даже черновые. Он читал то, чего никто обычно не читал, как вещь не стоящую, и я видел не раз, как он не только интересовался, казалось бы, далеким от него предметом, но прямо жил чуждою ему книгою, ассоциируя ее достоинства самым неожиданным образом. Этим путем он, действительно, имел ключ ко всем нам, которые друг друга читаем довольно небрежно, и во всяком случае, не так, как это делал С. Ф. Он знал каждого из нас документально, и при расстановке сил никогда не ошибался. Можно, наконец, утверждать, что общественное мнение востоковедов и о востоковедах создавалось всегда, если и не исключительно им, то им главным образом.

X

Можно и следует также утверждать, что вся организаторская деятельность С. Ф. среди востоковедов шла исключительно под флагом науки. Выше я уже упоминал, как он показывал, я думаю, всем пример отсутствия нездоровой конкуренции среди собратьев по специальности. У него был выработан особый термин для характеристики тех именно лиц, которых он ценил выше личного вкуса и пристрастия. Это были слова: точный ученый. Впрочем, на эту тему написано у него немало некрологов, хотя бы из числа цитированных мною. Можно смело рекомендовать их для прочтения всем начинающим востоковедам, как знаменующие собою отход востоковедения от старых традиций литературы знатоков к новой традиции знатоков, научно умелых.

С. Ф. не терпел обывательских бесед. Язык его общения был исключительно научный. Куда бы он ни приходил, он сейчас же, сложив пенснэ известным всем нам своим характерным жестом, сейчас же искал книг и рукописей, чтобы завязать беседу исключительно о книге. Он требовал и от нас полного подчинения личности, живущей многообразными внешними интересами, исключительно науке. В его представлении ученый должен быть своею наукой воспитан: он должен выработать свой нравственный и общественный облик в точной пропорции к своим научным достижениям. Сколько раз приходилось слышать от него весьма горькие слова осуждения тем, в ком он видел печальное расхождение этих двух фазисов одной и той же личности! Во всяком случае, он неутомимо, без всяких замалчиваний, боролся с обывательской пошлостью, засасывающей науку, и, полный такта во всем, довольно резко обрывал беседу, клонящуюся к обывательским пересудам.

Новым веяниям в науке С. Ф. шел навстречу с какою-то любовью, и, пожалуй, подчас без должной настороженности, но охотно выслушивал возражения, изменял свою точку зрения, подчинялся более его компетентным, сохраняя, однако, весь пиетет к настоящему ученому, независимо от усваивания или неусваивания его теорий.

В конце концов, при всей своей видимой мягкости, С. Ф. был человеком твердых линий, далеко не всегда приемлемых для его друзей, которым он в этих линиях не поддавался. Точно так же все видели примеры его определенных выступлений против друзей во имя научной правоты, как бы ни было это выступление им неприятно. Наконец, при чтении наших статей и корректур, С. Ф. высказывался без обиняков, отделяя общую доброжелательность от научного критицизма.

Однако, во всех этих своих нападках С. Ф. был всегда точен, не любил резких общих характеристик и особенно «все сметающих суждений» (по его выражению, sweeping statements), близких к непримиримости и нетерпимости, которые были не в его характере и вызывали в других его резкое осуждение.

Будучи типичным агитатором в научном деле и обладая, к тому же, редким государственным умом, С. Ф. и здесь умел соблюдать золотую середину.

Ратуя за науку, С. Ф. ратовал, прежде всего, за ее полноту, ибо наука не знает извинений и ограничений. Сам стоя в курсе всего западного востоковедения, он требовал того же и от всех нас, и его первым вопросом к пришедшему в его кабинет был неизменно один и тот же: Вы знаете о (такой-то) новой книге? Книга тут же демонстрировалась и безоговорочно ссужалась. Он принадлежал к плеяде ученых ориенталистов, искавших компромиссного решения спора о востоковедении. С одной стороны, он считал востоковедение как бы единой дисциплиной — во всяком случае, достаточно характерной; с другой, он сам отходил от нее во все стороны, ища опоры во многих соседних гуманитарных дисциплинах, в увлечении которыми он, в конце концов, о востоковедении даже забывал. Однако, если наше поколение превратилось из восточников в востоковедов и содействует этому превращению своих аудиторий, то очень крупная роль принадлежит этому неугомонному агитатору, врагу элементарных требований и пониманий, ненавистнику рутины и схоластики.

В связи с этим, как уже неоднократно отмечалось писавшими и говорившими о С. Ф., стоит основная его пропаганда живой, органической связи Востока с Западом. Будучи сам востоковедом на западных началах, евро-

пеец по культуре, по воспитанию и по самовоспитанию, он, однако, ориентировался, не увлекаясь западничеством, исключительно на Восток, и никакое заигрывание с Востоком, идущее мимо прямого восприятия идей из его книжной культуры и источников, не встречало его одобрения, хотя бы вся западная продукция данным любителем Востока и была усвоена и учтена. Кроме того, он ориентировался на отечественную продукцию в первую очередь, западником не был и зарывавшихся западников всегда осаживал. Будучи вообще человеком золотой середины, он в этом отношении иногда переходил границы и видел в отечественных достижениях больше, чем то допускали хорошо ему известные пропорции, и патриотическое начало бывало иногда расцвечено достаточно сентиментальными оттенками.[1]

Но, конечно, его роль в европеизации Востока и востоковедной России, в вовлечении и Востока и России в схемы общей мировой культуры, в борьбе с неумеренностью восточников, с одной стороны, и востоковедов западного толка с другой — несомненно достаточно определенна и крупна.

XI

Перехожу теперь к системе его личного общения и руководства, как я лично ее в нем наблюдал. Впрочем, всякий из тех, кто пользовался его гостеприимством по воскресеньям, подтвердит, что, убивая единственно свободное время на приходящих, он не только делал это без сожаления, но, наоборот, поощрял стесняющихся отнимать от него дорогое время и ничем посещение не ограничивал. Всякий помнит эти утра, когда С. Ф. в своей блузе носился по кабинету в поисках книг для посетителя или сидел с поджатою ногой и слушал посетителя, да и вся обстановка его кабинета состояла из двух раскрытых столов, лишенных всякого не только ученого комфорта, но даже простого удобства (например, они были почти без ящиков), простых книжных полок, без всяких «глубокоуважаемых шкафов», вообще без какого-либо признака трафаретного, так называемого ученого кабинета, с его массивным комфортом импонирующей и давящей бессмысленной роскоши.

На личное общение путем корреспонденции С. Ф. тратил, в конце концов, много, слишком много времени. Все мы знаем, как опасен для научных задач этот гибельный путь, но для организатора, каковым был по

[1] Так, в уже цитированных мною не раз его некрологах В. П. Васильева и В. А. Жуковского, он старательно ищет в этих ученых какого-то торжественного и особо русского начала, сам отлично зная, какою ценою это начало было куплено, и сам же описывая катастрофу обоих ученых.

существу С. Ф., другого выхода не было, и при оценке его деятельности, эту именно деятельность надо и пропорционально и полностью учесть. Интересуясь каждым из своих корреспондентов, он обижался, когда некоторые, не желая загромождать его столы своими реляциями, сокращали их до минимума. Этот человек не мог и не хотел в чем-либо ограничивать свою организаторскую деятельность.

Но едва ли не самою типичною ее чертою была система убеждения и уговаривания строптивых спорщиков, и там, где другой потерял бы охоту к убеждению, С. Ф. настаивал до последних моментов и был доволен, когда его убеждения, в конце концов, действовали. При этом выбор лиц, обрабатываемых им таким образом, был попрежнему весьма спорен, и этой своей привычке он отдавал порой слишком обильную дань.

Однако там, где нужно было долго убеждать разных лиц, чтобы наладить работу, там С. Ф. был незаменим и неподражаем. Как заметил в своей речи И. А. Орбели, С. Ф. умел учить, не поучая. Действительно, он просто вставал в работу вместе с данным лицом, и скорее советовал, чем учил.

С. Ф. легко сближался и редко с кем расходился — во всяком случае сближение у него происходило легче, чем расхождение. Он глубоко переживал утрату людей, ему хорошо известных и дорогих. Особо характерны в этом отношении его строки в биографии А. В. Потаниной (стр. 220): «с каждым, который от нас уходит, — пишет он, — мы хороним часть своего я, тем большую, чем ближе нам был человек, хороним ее безвозвратно, если даем умереть в себе памяти о том, кто ушел».

Однако его принципиальная благожелательность была очень далека от безразличной, и помогая каждому иногда в размерах и формах, чрезвычайно редких среди нас,[1] не позволяя в своем присутствии вообще злословить и резко (поскольку он был, вообще, на резкость способен) осаживая злословящих по адресу лиц, ему дорогих, — он все-таки делал выбор, хотя и не всегда понятный. Ложным самолюбием он не обладал, и сам шел навстречу букам, нелюдимым, застенчивым и даже к относившимся к нему с явною и ему известной неприязнью. Во всяком случае, нетрудно вспомнить одно тяжелое заседание, в котором он был грубо оскорблен одним из зарвавшихся молодых ученых, и тем не менее, он не только сохранил с этим человеком нормальные отношения, но и возмущался теми, которые свои

[1] О денежной его помощи, вероятно, очень многим никому из нас прямо неизвестно, но можно утверждать, зная его жизнь, что свое большое по тому времени содержание он на себя не тратил, довольствуясь лично всегда очень суровым минимумом

отношения с этим лицом порвали. Впрочем, мне известен случай, когда он выгнал из своего кабинета одного soi-disant ученого вне всяких столь свойственных ему вообще убеждений и представлений.

Общий принцип личного и всякого другого воздействия, им применявшийся и всегда исповеданный, был: suaviter in modo fortiter in re. Деловая приязнь, — вот как собственно, надо расшифровать этот его лозунг в его же исполнении.

XII

Рассмотрю еще, как проводил С. Ф. идею коллективной работы, которой он всегда был искренне предан, хотя исповедание этой его веры среди анархических индивидуалистов, встречавшихся в его время среди востоковедов, далеко не всегда звучало. И, действительно, чувствовалось, что он вообще враждебен замыканию ученого в своем кабинете, в своей программе, в своем материале, который, будучи привезен однажды с Востока, залеживался в кабинете десятками лет, разрабатываясь отдельными, часто бессвязными пачками. Сам С. Ф. в этом отношении уклонился в другую крайность, и, как известно, не имел времени разработать свои собственные материалы, но за то он всем желающим предоставлял их в пользование, и вообще их у себя в кабинете почти не держал.

Его идеей было братское общение всех востоковедов. Они должны были, прежде всего, друг друга и друг о друге знать. Я уже упоминал о его воскресных собраниях, где эта идея осуществлялась, по моему, идеально. Однако он не ограничивался этим единением людей, идущих навстречу его идее. Кто не знает, что не только среди востоковедов, но и всюду С. Ф. вызывали немедленно для улажения конфликтов и для обработки скверных характеров, стремительно портящих академическое дело? И это ему всегда удавалось. К тому же, самая манера С. Ф. знакомить одного с другим, всегда с неизменно благожелательной и вместе с тем твердо обоснованной предпосылкой, с характеристиками, настолько осторожными и вместе с тем твердыми, что, будучи повторены буквально, они существовали и в открытом и в закрытом виде без всякого налета интриги и злословия, лести или обиды. Он читал всех и требовал понятного всем языка как в изложении, так и в переводах. Он считал, что все пишут для всех, а не только для лиц, владеющих условным шифром и опирающихся на текст как на документ, считая при этом перевод вещью малосущественной и тем менее обязательной. Вообще можно сомневаться, чтобы принудительное подчас столкновение между собою людей, особенно хмурых,

нелюдимых, давало большие результаты; можно также отрицать существование Ольденбурговского коллектива как организации, но нельзя отрицать, что люди, сторонившиеся его и общения, им проводимого, носят на себе некоторый общий отпечаток.

Все знают, что организации, им созданные, жили и живут полною жизнью. Достаточно упомянуть, не перечисляя всех, хотя бы Институт востоковедения, родившийся из Азиатского музея, которому он еще до Революции придал особый, дотоле немыслимый характер широкого учреждения, научно-исследовательского института и лаборатории. Как известно, Азиатский музей все время при нем был средоточием всего востоковедения, так что Институт востоковедения был только новою фазою старого существа, а Коллегия востоковедов, отпавшая при создании Института востоковедения, была, действительно, как и числилось «при Азиатском музее», одним из видов его открытых собраний.

Редким примером деятельности организатора являлась всегда его исключительная аккуратность. Он являлся на заседания раньше всех, весь полный научного настроения. Во время заседания, волнуясь и упрекая неаккуратных, он выслушивал всех до конца, никогда никуда не отлучаясь и не покидая зала заседания ранее его окончания. Заседаний он, вообще, не пропускал.

О формах международного единения ориенталистов, инициатором или исполнителем которых он являлся (Bibliotheca Buddhica, Русский комитет для изучения Средней и Восточной Азии), сказано до меня, и мне остается подтвердить еще раз реальность этих предприятий, весьма способствовавших укреплению международного значения нашей Академии.

За границей С. Ф. не изменял себе: он искал всюду коллектива. В 1923 г. в Берлине он почти не имел времени для индивидуальных занятий, посвятив себя целиком научно-организационной работе.

XIII

Перехожу теперь к характеристикам реакций на него лично и на его деятельность со стороны наших и заграничных востоковедов. Придется для этого повторить, что С. Ф. был везде нам нужен и желателен. Никакое крупное и мелкое востоковедное научное предприятие без него было прямо немыслимо, до и лично без совета с ним, особенно в трудных случаях, редко кто-либо решился бы, и не за страх, а за совесть, что-либо предпринять, а некоторые из нас без него вообще ни делали ни шагу, и было как-то удобно и приятно сознавать, что ultima ratio все-таки за С. Ф.!

Вообще, кажется, не считающихся с ним востоковедов не было, но были сопротивлявшиеся его инициативе, которых пугала его неугомонность, требовательность, повышенный интерес к ничем не зарекомендовавшим себя людям, которые в научном общежитии часто только мешают, а снабженные Ольденбурговским патентом на внимание ведут себя вне должных пропорций и т. д. Замкнутые и самонадеянные не реагировали на его призывы, боясь высказываний, которых С. Ф. в том или ином виде требовал для выяснения дела и обстановки. Были и враги, считавшие его деятельность не эквивалентною научной кабинетной и излишне демонстративной.

Но среди молодежи С. Ф. ни врагов, ни сопротивляющихся влиянию, повидимому, не знал, если не считать очень редких, равнявшихся по кабинетному ранжиру своих учителей и поставивших себя в изоляцию узкого специалиста.

XIV

Теперь мне остается лишь рассмотреть, — хотя после высказанного это уже будет не очень ново, — какими ресурсами располагал этот человек в своей личности, чтобы так долго влиять на своих коллег и на наше общее дело. Я уже говорил, что как организатор он ни в ком не вызывал отрицательной критики и насмешки, ибо звал к делу, которое сам умел делать — и насколько лучше, чем многие и многие! Вообще он был совершенно несоизмерим со столь хорошо известными нам энергичными организаторами. С другой стороны, он не был организатором-сибаритом, бросающим лозунги и затем спокойно созерцающим laissez faire, laissez passer.

Но едва ли не движущим все секретом было его личное обаяние, которое парализовало иногда даже имевших против него нарекания. Его такт и внимание, память, позволявшая среди тысячи мелькающих лиц, их имен, отчеств и фамилий никого не забывать и никого ни с кем не смешивать; широта его интересов, кругозора и отбора знакомств, культурность и простота, доведенные до идеального совершенства и безупречности, джентельменство редкой полноты, веселая ласковость в обращении, приветливость и доброжелательность, образцовая вежливость, — одновременно и принципиально продуманные и весьма непосредственные — товарищеские отношения вне сравнений, воинствующий оптимизм, — все это, подкрепляемое всем известным Ольденбурговским крепким и определенным пожатием руки, в отличие от столь обычных дряблых взаимопритрагиваний, все это действовало, конечно, и на многих и на всех.

Он первый приходил на помощь в тяжелых случаях и в общественных и личных, его доброта была неискушенною, даже в тех случаях, где просители заслуживали скорее изгнания из помещения, чем какого то ни было внимания. Он был доступен всем, в ущерб и своей работе и своему отдыху, и своему, в конце концов, здоровью. Начальник без начальнических окриков и аллюров, предпочитавший действовать настойчивым убеждением, он всех подкупал своею простотой и доступностью.

С. Ф. был лишен крайностей и враг крайних людей, что не мешало повторяю, ему самому быть воинствующим оптимистом. Я уже указал пример его борьбы с воинствующим критицизмом à tout prix (у акад. Васильева) с пессимизмом вообще.

Его бескорыстие никогда не подвергалось даже отдаленным сомнениям. Никто и никогда не видел его ставившим какие-либо особые условия оплаты своего труда, хотя никто из распоряжавшихся кредитами никогда не отказал бы ему ни в чем. Но зато я знаю лично примеры его протеста против своей зарплаты, казавшейся ему преувеличенной, и отказов получить помеченную в ведомостях и причитающуюся ему зарплату. Это был, несомненно, бессребренник, как последовательный тип. Характерно, что при жизни С. Ф. все эти большие в сущности вещи были как-то в тени его других достоинств.

С. Ф. был, как джентльмен, ярым противником житейщины типа do ut des. Он не измерял своих отношений к людям инициативой других в отношении к нему. Он уклонялся от всех своих, кроме последнего, юбилеев и вообще не терпел повышенных своих характеристик. Он был чужд зависти, интриги, активной ненависти но главное, засасывающей среды и обывательщины. Он был поборник простоты, очень часто утрированной, скромной жизни, жизни без вещевого засилья и загромождения, и даже без врачебно-обывательской регулярности. Его никто не видел развлекающимся в театре, в концерте, на вечере, вечеринке или в так называемых «гостях». Я видел, как зайдя в лондонский театр, он вдруг оттуда стремительно ушел, хотя обычная английская пошловатость театра не доходила в данной пьесе до больших градусов. Он был вообще нечуток к анекдоту, который всегда строится на беспринципном смехе, а тем более, к анекдоту двусмысленному, и враг вообще какой бы то ни было расхлябанности, халатности, распущенности, попустительства, кумовства, неразборчивости и засилья среды. Я думаю, что он своим примером и убеждением спас многих от влияния квартиры, вещей, «гостей» и прочих довольно твердых оболочек обывательской среды, в которых распариваются, демобилизуются и иммобилизуются ученые организмы.

С. Ф. был демократ по убеждению и по поведению. В нем не было ни тени генеральства, и его ближайший друг-иностранец, узнав от меня, что он по чину и положению (дело было в 1912 г.) генерал, от удивления громко вскрикнул. Он был враг формальностей, не считался с обывательскими праздниками, никого не ездил поздравлять, ни от кого не принимал никаких поздравлений. Он был доступен критике, откуда бы она ни шла, и на негодную травлю (напр., в «Новом Времени») не реагировал.

С. Ф. был преданный друг, о своих чувствах говоривший ясно и определенно, а в своем поведении их обнаруживавший до конца. При этом он допускал всевозможные разногласия, переходившие иногда в тяжелые сцены, как между родными людьми, и обычным дружеским обращением в его устах было как раз это слово: «слушайте, родной мой!»

Наконец, пример его работы с самого раннего утра до самой поздней ночи, — работы, проводимой с феноменальной четкостью и быстротой, пример его безукоризненно отделанных статей и книг не мог не действовать на окружающих.

XV

Итак, вот прошла пред нами одна из многих полос жизни достойного ученого. Теперь, когда его уже нет, и невольно до сих пор рождающийся рефрен: «надо поговорить с С. Ф.» уже не звучит, как-то не находишь слов для передачи чувства создавшейся безысходной неуютности.

Он занимал среди нас совершенно особое место, весь распластавшись по нашему неровному фронту во имя единства и силы в единстве.

История востоковедения может быть написана только с полным учетом всех его писаний, и то, что востоковеды, при всей своей малочисленности, играли и продолжают играть немаловажную роль в нашей науке и общественности, в значительной степени обязано его энергии и его уму. С его смертью востоковедный комплекс как будто опять склонен к распаду, но те новые кадры востоковедов, которые ныне приходят к науке с уже готовым миросозерцанием, а не идут пассивно вслед научному материалу, несомненно, создадут совсем иной фронт для научных завоеваний. Однако их речи и статьи точно так же свидетельствуют скорбь об утрате учителя и руководителя, и это признание за старым специалистом права на непосредственное преемство в наши дни звучит особенно убедительно, и так приятно им закончить эту попытку характеристики, узкой и недостаточной, отошедшего от нас всем нужного, всем дорогого, всеми признаваемого учителя, руководителя и друга.

А. И. ВОСТРИКОВ

С. Ф. Ольденбург и изучение Тибета[1]

Деятельность С. Ф. Ольденбурга как ученого и как замечательного организатора, создателя и вдохновителя целого ряда научных предприятий, не укладывается в рамки какой-нибудь одной узкой специальности.

Круг вопросов, которыми Сергей Федорович интересовался сам и которыми он старался заинтересовать других, был настолько широк, его эрудиция была настолько разностороння, что многие области в обширном поле изучения социальных явлений стран Востока с полным правом могут считать и считают его одним из своих выдающихся специалистов.

Человек исключительно одаренный, С. Ф. Ольденбург был в полном смысле слова энтузиастом науки, увлекавшим своим стремлением к расширению человеческого знания всех, кому приходилось с ним общаться.

Это постоянное стремление к знанию, характерное для Ольденбурга-академика, так же как и для Ольденбурга-студента, стремление не только и не столько к расширению своих собственных познаний, сколько к расширению и углублению научного знания всего человечества, обогащало его с каждым днем все более и более разнообразными сведениями и позволяло ему охватывать широчайшие перспективы научного развития.

Поднимаясь над узким кругом вопросов своей непосредственной специальности, охватывая умственным взором общие перспективы развития науки, С. Ф. Ольденбург всю свою жизнь негодовал на ту бесплановость и бессистемность, которая была столь характерна для дореволюционного востоковедения. Еще 16 лет тому назад в речи, произнесенной им по случаю столетия юбилея рождения знаменитого русского буддолога акад. В. П. Васильева, С. Ф. Ольденбург, анализируя громадную литературу о буддизме, которая накопилась на разных языках за сотню лет его изу-

[1] Доложено в заседании Группы востоковедения Академии Наук СССР 26 IV 1934 г., посвященном памяти акад. С. Ф. Ольденбурга.

чения, с горечью указывал на этот основной порок прежнего востоковедения, свойственный, впрочем, и другим наукам до революции.

«На изучении буддизма, — говорил Сергей Федорович, — необыкновенно ярко сказалась та бессистемность, то отсутствие планомерности в работе, которое так поражает нас при рассмотрении истории гуманитарных наук: не будет преувеличением сказать, что здесь царят мода и индивидуальные особенности и вкусы исследователей; на каждом шагу невольно спрашиваешь себя, почему какой-нибудь детальный вопрос привлекает к себе особенное внимание, вызывает ряд работ, когда остается неисследованным вопрос не менее важный, от решения которого зависит настоящее понимание того первого вопроса, который рассматривался как бы вне времени и пространства. Поражает та легкость, с какою пытаются делать широкие обобщения, не имея в своем распоряжении достаточного фактического материала, который, однако, не трудно было найти».[1]

Эти горькие мысли и недоуменные вопросы волновали Сергея Федоровича всегда, когда он пробегал по страницам истории прежней науки. То, что он сказал об изучении буддизма, в большей или меньшей степени приложимо было и к другим областям востоковедения. И в других областях также внимание подавляющего большинства исследователей привлекали отдельные разрозненные детали, тогда как целый ряд явлений не менее важных, явлений, изучение которых было совершенно необходимо и для самого понимания этих деталей и, в особенности, для определения их удельного веса в общем процессе исторического развития, — оставался в стороне. В результате нередко наблюдалось искажение исторической перспективы, гипертрофия одних явлений в ущерб другим, поспешные и необоснованные заключения.

Всю свою жизнь Сергей Федорович мечтал о том времени, когда, наконец, не мода, не личные вкусы отдельных ученых будут руководить выбором объектов научного исследования, а строгий план самой науки, план закономерно вырастающий из самой задачи постижения сложной и многообразной действительности и предусматривающий замену стихийно возникающих единичных исследовательских попыток дружными и систематическими действиями целого научного коллектива. И не только мечтал, но и работал для этого времени, старательно собирая и группируя научные силы, пропагандируя необходимость изучения различных проблем, восставая

[1] С. Ф. Ольденбург. Памяти Василия Павловича Васильева и о его трудах по буддизму. ИАН, 1918, стр. 539.

против чрезмерного увлечения случайными вопросами, против всякого нарушения чувства меры и исторической перспективы.

С. Ф. Ольденбург ясно видел, что одиночные труды ученых, даже труды совершенно гигантские, бывают нередко обречены на неудачу, на долгие годы забвения, если не привлечено к ним внимание других исследователей, если совместными усилиями многих ученых не созданы условия для того, чтобы эти труды могли быть правильно восприняты и продолжены. Лучше многих других он сознавал, что не единичные усилия отдельных ученых в некоторых только областях, а расширенное и углубленное изучение различными специалистами всей совокупности разнообразнейшего фактического материала даст нам подлинное знание истории и культуры восточных стран.

В сущности, вся полувековая научная деятельность С. Ф. Ольденбурга, в чем бы она ни выражалась, в печатных ли трудах, или в устных речах и докладах, в организации или в руководстве тем или иным научным предприятием, или просто в личном общении с учениками и товарищами, была подчинена горячему стремлению добиться всестороннего, систематического и планомерного научного исследования Востока. Этой работе С. Ф. Ольденбург посвятил все свои силы и время, все свое знание и опыт, ради нее он много раз жертвовал собственными кабинетными занятиями, личными исследовательскими интересами. Не жалуясь и не завидуя, он, ученый высокой марки, умел незаметно и просто отходить с тех участков науки, где его же трудом и энергией работа была налажена, отходить именно потому, что работа здесь шла вперед, отходить туда, где ее еще нужно было налаживать.

Само собою разумеется, что у С. Ф. Ольденбурга при всех его широких интересах был ряд таких вопросов, которые он хотел во что бы то ни стало разработать собственным трудом, полагая с полным основанием, что он может это сделать не хуже, а лучше любого другого исследователя. Своими работами по индийскому искусству, археологии и фольклору он завоевал себе славу блестящего знатока и крупнейшего специалиста среди ученых всего мира. И хотя некоторые из тех тем, которые Сергей Федорович отобрал для своего личного исследования, он, будучи всю жизнь обременен задачей организации науки, так и не успел разработать, вряд ли можно особенно строго судить его за то, что он искренне хотел и твердо надеялся эту разработку рано или поздно осуществить. Тем более, что время не упущено и то, что не успел сделать С. Ф. Ольденбург, может быть сделано еще и теперь.

С. Ф. Ольденбург за всю свою жизнь, целиком посвященную науке, накопил немного больших печатных трудов. Всю свою жизнь заботясь о развитии науки, Сергей Федорович выступал и в своих печатных работах прежде всего как организатор и вдохновитель научно-исследовательского труда, неизменно придавая им методический и принципиальный характер.

Его часто небольшие статьи по вопросам истории, философии, религии, искусства, литературы и фольклора Индии и сопредельных стран были показателем исключительного сознания той ответственности, которая лежит на научном работнике, исследующем эти вопросы, показателем ясного понимания задач, подлежащих разрешению в данной области, уменья выделить и подчеркнуть самое важное и существенное. Его работы, прежде всего, это образцы научно-исследовательского анализа, это программа и руководство для действия в той отрасли знания, которой Сергей Федорович посвящал свою работу.

И в этом смысле нужно оценивать и работу С. Ф. Ольденбурга в деле изучения Тибета.

Изучение тибетского языка в России началось свыше двухсот лет тому назад. Еще в конце XVII в. в Посольском приказе в Москве состоял на службе в качестве переводчика некий Павел Иванович Кульвинский, который в своей автобиографии (сказке), датированной 1696 г., называет себя «переводчиком калмыцкого, мунгальского и тангутского письма».[1] Однако относительно его деятельности в области тибетского или, как тогда называли, тангутского письма сведений не сохранилось. Вероятно, что в конце XVII, начале XVIII вв. в России и кроме Кульвинского были люди, интересовавшиеся тибетской письменностью и занимавшиеся ею, но эти занятия не оставили после себя заметных следов и во всяком случае не выходили из рамок личной любознательности.

Более или менее заметный интерес к тибетской письменности проявляется лишь в 20-х годах XVIII в. и связан с находкой на Иртыше в монастыре Аблайн-хит тибетских рукописей. Образцы этих рукописей в виде отдельных листов были доставлены в Петербург, и в 1722 г. библиотекарь Петра I, Шумахер, командированный по разного рода научным делам за границу, представил в Парижскую академию один из этих листов с просьбой дать его научное определение и перевод.

Хотя к тому времени в Европе уже были опубликованы сообщения разных путешественников в Тибет и начали понемногу поступать сведения

[1] В. Л. Котвич. Русские архивные документы по сношениям с ойратами в XVII—XVIII вв. ИАН, 1919, стр. 1206.

о деятельности католической миссии, которая с 1708 г. развернула проповедь христианства в Непале и в Тибете, однако первые не давали сколько-нибудь значительных материалов для ознакомления с тибетской письменностью, а труды католической миссии в этом направлении были еще не изданы и мало кому доступны. И потому аббат Bignon отнюдь не преувеличивал, когда он, направляя в феврале 1723 г. Петру I результаты работы французских ученых над этим листом, писал: Il étoit assez difficile, Sire, de reconnoître seulement des caractères, que nos Sçavans n'avoient point encore vûs jusqu'icy ...[1]

Анализ привезенного Шумахером в Париж листа был поручен известным французским ориенталистам братьям Etienne и Michael Fourmont, которым посчастливилось раздобыть рукопись латинско-тибетского словарика католического миссионера в Тибете de Fano[2] и с ее помощью правильно определить, что лист этот написан по-тибетски. Однако, попытка их, пользуясь этим словарем дать транскрипцию текста и его буквальный и смысловой перевод, кончилась, как и следовало ожидать, полной неудачей. Работа была ими выполнена и направлена вместе с письмом аббата Bignon в Петербург, но представленный ими перевод ничего общего с текстом не имеет.[3]

Проезжая через Лейпциг в 1722 г., Шумахер показал этот текст также некоторым немецким ученым, но успеха и здесь не добился. Правда, J. B. Menke в том же году сумел с большим искусством воспроизвести его в «Acta eruditorum»,[4] а Bayer[5] и M. Veyssière La Croze,[6] пользуясь «тангутским» алфавитом, который был сочинен толмачем Гаврилой Монголовым и находился в руках Байера,[7] сумели установить, что лист написан

[1] См. G. F. Muller. Commentatio de scriptis tanguticis in Sibiria repertis. Petropoli, 1747, стр. 6 и след., где приведено целиком письмо аббата Bignon к Петру I.

[2] Рукописная копия этого словаря имеется, между прочим, в коллекции тибетских рукописей и ксилографов Института востоковедения Акад. Наук СССР. См. I. J. Schmidt und O. Böhtlingk. Verzeichniss der Tibetischen Handschriften und Holzdrucke im Asiatischen Museum, № 515.

[3] Оригинал работы братьев Fourmont находится в Институте востоковедения.

[4] Nova literaria de Mss codicibus in Tartaria repertis. Acta eruditorum anno MDCCXXII publicata, Lipsiae, стр. 374—376 и таблица. Начальные слова тибетского текста были еще ранее воспроизведены в «Neue Zeitungen von gelehrten Sachen», № LI, den 25 Juny, 1722, Leipzig, стр. 498.

[5] См. его письмо, опубликованное в Historie der Gelehrsamkeit unserer Zeiten, V st., Leipzig, 1722, стр. 385 и сл.

[6] См. его письмо к J. B. Menke, опубликованное в Acta eruditorum, 1722, стр. 414—416.

[7] Алфавит этот La Croze передал для опубликования Menke, и он был напечатан в Acta eruditorum, 1722, стр. 417 и сл., и затем сам Bayer опубликовал его в Supplementa actorum eruditorum, Lipsiae, 1729, т. IX, стр. 20.

«тунгутскими» буквами, однако ни тот, ни другой не были в состоянии разобрать самый текст.

Старания Шумахера получить по заказу Петра I научный разбор этого листа от европейских ученых имели, однако, тот положительный результат, что они привлекли к нему внимание со стороны широких кругов ориенталистов и возбудили в Европе интерес к изучению тибетской письменности вообще. В течение целого столетия, вплоть до Abel Rémusat, тибетский лист из Аблайн-хита и его интерпретация продолжали занимать европейских востоковедов.[1]

В нашей Академии Наук изучение тибетского языка начинается почти с самого момента ее основания и, хотя число всех бывших у нас тибетоведов измеряется единицами, тем не менее наши ученые и, в частности наша Академия Наук, занимают в мировой науке о Тибете одно из первых мест. Еще в 1720 г. Мессершмидт, находясь в экспедиции, составил небольшой список тибетских слов, записанных им, вероятно, у ойратов. Список этот, как и прочие бумаги Мессершмидта остались неопубликованными, но вариант его был напечатан в 1730 г. спутником Мессершмидта, пленным шведским офицером Strahlenberg'ом в приложении к своей книге: «Das Nord und Östliche Theil von Europa und Asia».[2]

Возвратившись в 1727 г. в Петербург, Мессершмидт привез с собою, между прочим, ксилограф китайской печати, содержащий в себе санскритский алфавит, написанный буквами ланджа, тибетскими и монгольскими. Изданию и анализу этого ксилографа Байер, который уже в конце 1725 г. вступил в состав нашей Академии Наук, посвятил специальную работу «Elementa litteraturae brahmanicae, tangutanae, mongolicae», которая была им представлена в Академию в 1728—1729 гг. и напечатана в «Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae» в 1732—1733 гг. Занятия Байера в области тибетской письменности не дали и не могли ему дать, однако, знание самого тибетского языка. Не будучи в состоянии

[1] См. Georgi. Alphabetum Tibetanum, Romae, 1762. Appendix III, стр. 663—759, где воспроизведена работа Fourmont и дана новая интерпретация тибетского текста. Abel Rémusat. Recherches sur les langues Tartares, Paris, 1820, т. I, стр. 322 и сл.

[2] Список Мессершмидта, датированный 1720 г., находится в архиве Института востоковедения, III, 69. Вариант, опубликованный в таблице, приложенной к книге Strahlenberg'а «Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia...», Stockholm, 1730, отличается несколько по составу слов — в нем больше числительных и меньше существительных и, кроме того, порядок последних изменен и отдельные слова заменены другими. Тем не менее источник обоих списков был, видимо, один, так как оба списка в числительных на место тибетского обозначения «9» ставят слово, значащее «10», а на место последнего — слово, обозначающее 12; на место слова, обозначающего «30», пишут 29; одинаково транскрибируют «6», читая тибетское «drug» по-калмыцки «uruk», и т. д.

понять непригодность перевода, представленного братьями Fourmont, Байер, вполне доверяя их авторитету, нашел необходимым опубликовать его в своем «Museum Sinicum».[1]

Проверить перевод братьев Fourmont взялся другой наш академик, известный историк Г. Ф. Миллер. Не зная тибетского языка, Миллер не мог, конечно, сам оценить качество их работы. Но посетив в 1735 г. селенгинских бурят-монголов, он обратился за содействием к одному тамошнему ламе — пришельцу из Тибета, который и перевел ему начало тибетского листа на монгольский язык и транскрибировал это начало монгольскими буквами. Этот лама, живший при тайше Лобсане и называвшийся, по словам Миллера, «Zordschi», был никто иной как знаменитый цорчжи-лама из монастыря Чонэ, по имени Агван-пунцог, первый глава буддийского духовенства бурят-монголов и основатель Цонгольского дацана.

Ввиду того, что сам Миллер не знал и монгольского языка, некий Петр Смирнов из Иностранной коллегии перевел ему по-русски монгольский перевод Агван-пунцога и транскрибировал его русскими буквами. С русского перевода Миллер сделал латинский перевод, который и опубликовал в 1747 г. вместе с тибетским оригиналом и монгольскими текстами Агван-пунцога в своей работе «Commentatio de scriptis tanguticis in Sibiria repertis». В архиве[2] Института востоковедения сохранилась, кроме этого, ненапечатанная работа Миллера, которая носит название «Vera interpretatio folii tangutici Fourmontiani» и состоит из небольшого предисловия Миллера, монгольского текста Агван-пунцога, упомянутого русского перевода и русской транскрипции его Петра Смирнова и латинского перевода и транскрипции, сделанных на основе работы последнего самим Миллером. В своей напечатанной работе Миллер дал описание развалин Аблайн-хита и других и привел довольно хорошо воспроизведенные буддийские изображения, хотя ни он сам, ни его спутник Гмелин не удосужились лично посетить эти места, доверив это дело своим подручным, на что справедливо сетовал в свое время Abel Rémusat.[3]

В 1772 г. Паллас, собирая различные сведения о монголах, опубликованные им впоследствии в его «Sammlungen historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften», записал со слов живших тогда среди селенгинских бурят-монголов тибетских лам любопытные данные о географии, языке и религии Тибета. В этом деле ему большую помощь оказал

[1] Th. S. Bayer. Museum Sinicum, Petropoli, 1730, т. I, стр. 109—124.
[2] Архив Института востоковедения, III, 83.
[3] Op. cit., стр. 229—230.

сопровождавший его переводчик Ериг (Jaehrig), который изучил и монгольский и тибетский языки настолько, что смог перевести для него ряд материалов из литературных источников. Плоды их совместных разысканий были использованы Палласом в его «Sammlungen historischer Nachrichten»[1] и в «Neue Nordische Beiträge».[2] Продолжая работать в Кяхте и после отъезда Палласа, Ериг написал целый ряд научных трудов, между прочим словарь и грамматику монгольского языка, несколько переводов и краткую грамматику тибетского языка. Не порывая связи с Палласом и работая по его инструкциям, Ериг направлял свои работы в Академию Наук, но они так и остались неопубликованными.[3] Ни в России, ни в Европе тогда не было еще людей, способных должным образом оценить их, не было большого интереса к изучению Тибета, не было достаточного количества читателей.

Миллеру, Палласу и Еригу мы должны быть признательны, между прочим, за коллекции тибетских и монгольских рукописей и ксилографов, которые им удалось собрать для нашей Академии Наук во время своего пребывания в Сибири. Еригу же мы обязаны благодарностью, кроме того, и за составление списка тибетских рукописей и ксилографов,[4] которые находились в его время в Академии Наук и которым начало было положено еще в 1720 г. приобретением по распоряжению Петра I рукописей из Аблайн-хита. Пополняясь с тех пор неоднократно стараниями многих исследователей, эти коллекции выросли в настоящее время до таких размеров, что Академия Наук и, в частности, ее Институт востоковедения, которому они непосредственно принадлежат, может считаться по праву самой богатой сокровищницей тибетской литературы среди всех научно-исследовательских учреждений мира.

Оценивая работы наших ученых в области тибетоведения в XVIII в., мы не должны забывать, что в это время изучение тибетского языка в Европе только что начиналось, что представления большинства европей-

[1] P. S. Pallas. Sammlung historischer Nachrichten über die Mongolischen Völkerschaften, II Th. Sammlung über den Götzendienst, die Geistlichkeit, Tempel und abergläubische Gebräuche der Mongolischen Völkerschaften; hauptsächlich die aus dem Tybet abstammende Fabellehre und damit verknüpfte Hierarchie. St. Petersburg, 1801.

[2] P. S. Pallas. Neue Nordische Beiträge, Bd. I, St. II, Nachrichten von Tybet aus Erzählungen tangutischer Lamen unter den Selenginskischen Mongolen.

[3] Работы Ерига и его письма находятся в архиве Института востоковедения, III, 70—82. Перечень их напечатан у Dorn. Das Asiatische Museum. St. Petersburg, 1846, стр. 122.

[4] Список этот напечатан у Busse. Journal von Russland. Jahrgang III, Bd. II, St. 9, März 1796.

ских востоковедов и о самой Тибетской стране и об ее языке и литературе были еще крайне смутны и порой даже фантастичны. Труды католических миссионеров, живших в начале XVIII в. в самом Тибете и непосредственно на месте изучавших тибетские язык и литературу, оставались тогда еще под спудом Congregatio de Propaganda Fidei. Они стали известны широким кругам ученых лишь со второй половины XVIII в. и то в крайне несовершенной переработке Georgi, который издал в 1762 г. свой Alphabetum Tibetanum, перемешав в нем богатые фактические результаты работы миссионеров с собственными досужими домыслами. При этих условиях нельзя не отметить известной заслуги нашей Академии Наук, которая на протяжении ряда лет, начиная с истории с тибетскими рукописями из Аблайн-хита и кончая работами Палласа и Ерига, все время возбуждала и поддерживала в европейской науке интерес к тибетскому языку и письменности, подготовляя, тем самым, наступление эпохи их интенсивного научного изучения.

По-настоящему научное изучение тибетского языка и литературы начинается в России лишь с 1829 г., когда в состав Академии Наук вступил Шмидт, который не только обогатил науку изданием и переводом разных тибетских (и монгольских) текстов, но и составил словарь и грамматику тибетского языка, изданные по-русски и по-немецки. На русском языке, кстати сказать, грамматика и словарь Шмидта до сих пор остаются единственными пособиями. Тибетско-русский словарь В. П. Васильева и его же грамматика так и остались в рукописи.

В своей грамматике и в словаре Шмидт широко использовал материалы тибетской грамматики и словаря, составленных знаменитым венгерским ученым Alexander Csoma Cörösi, который, по справедливости, может считаться и считается основоположником тибетской филологии. Но Шмидт сумел дополнить этот материал новыми данными и придал своему словарю, в отличие от словаря Csoma (который расположил слова по первым буквам), тот порядок, который принят во всех оригинальных тибетских словарях, а именно: алфавитный порядок по основным, коренным буквам слов (так называемые ming-gzhi). Занимаясь, прежде чем посвятить себя всецело научной работе, коммерческими делами среди волжских калмыков, Шмидт приобрел на месте немалые практические познания монгольского и тибетского языков и вместе с тем завязал теснейшее общение с местными знатоками тибетской литературы из числа лам, традиционные познания, начитанность и опыт которых он умел использовать для нужд науки. Последнее обстоятельство помогло ему немало в трудном деле каталоги-

зации чрезвычайно разросшихся, благодаря его же содействию, коллекций тибетских рукописей и ксилографов Академии Наук. В частности при нем Академией Наук приобретены были богатые коллекции, которые были собраны бароном П. Л. Шиллингом фон-Канштадт во время командировки последнего в Бурят-Монголию в 1830 г. и которые состояли как из памятников тибетской литературы собственно (переводной и оригинальной), так и из целого ряда рукописных каталогов к Ганджуру и Данджуру, составленных бурятскими ламами по указаниям Шиллинга на отдельных карточках и в форме европейских книг с алфавитными указателями. Один такой каталог к Ганджуру был даже издан Шмидтом.

Преемником Шмидта в Академии Наук был Шифнер, который дал немало различных и для своего времени весьма ценных работ в области тибетской грамматики и лексикографии, издал ряд текстов и переводов и каталогизировал новые коллекции тибетской литературы, поступившие в Академию Наук. Правда, в своем большом труде — в издании и переводе сочинения Даранаты «История буддизма в Индии» — Шифнер широко использовал русский перевод этого текста, сделанный его гениальным современником В. П. Васильевым, причем использовал настолько, что перенес в свой перевод даже отдельные ошибки Васильева. Однако, он в некотором отношении и сам помог впоследствии Васильеву своим знанием санскритского языка, облегчавшим ему восстановление собственных индийских имен, переведенных по-тибетски. Вместе с тем, убедившись лично, какую мощную научную силу представляет собою Васильев и насколько велики его познания, Шифнер помог последнему добиться напечатания некоторых его трудов, в частности русского перевода той же истории Даранаты и общего исследования о буддизме. Таким образом, Шифнер, хотя и далеко не в той мере, в которой следовало бы, все же до известной степени помог продвижению в печать трудов В. П. Васильева. А это было не только делом исключительной важности для тибетоведения, если принять в расчет масштаб работы Васильева, но и делом довольно трудным и хлопотливым. В России не был достаточно развит интерес к научному изучению тибетского языка и литературы, не было достаточного числа читателей, а на Западе все написанное по-русски признавалось неудобочитаемым.

Почти одновременно с началом работ Шмидта над изучением тибетского языка в Академии Наук, проявляется некоторый интерес к тибетскому языку в Казанском университете, где с 1833 г. во главе только что созданной кафедры монгольского языка стал знаменитый русский монголист О. М. Ковалевский. Изучая монгольский язык в Иркутске с помощью

тамошнего знатока Игумнова и других, а затем на месте в Бурят-Монголии и в Монголии, Ковалевский столкнулся с необходимостью изучения и тибетского языка. Не приобретя в нем особенно глубоких познаний, Ковалевский все же усвоил его до такой степени, что мог использовать тибетские материалы для своего монгольско-русско-французского словаря.

Из школы Ковалевского вышел и величайший русский буддолог и тибетовед В. П. Васильев, избранный впоследствии, уже после смерти Шифнера, в действительные члены Академии Наук.

Замечательна и поучительна судьба этого человека, опередившего на много десятилетий развитие своей науки и вынужденного из-за отсутствия в России, а отчасти даже и на Западе, среды для восприятия его научных открытий, заниматься преподаванием китайского языка и видеть как колоссальнейший труд всей его жизни остается ненапечатанным и никому неизвестным. Не менее поучительна, пожалуй, и судьба его друга В. В. Горского, который, так же как и сам Васильев, получил свои познания непосредственно от представителей тибетской школьной традиции. И его работы в области тибетоведения, работы, которыми мог бы гордиться даже современный исследователь, остались неопубликованными. Большинство их, видимо, безвозвратно потеряно для науки и лишь немногое сохранилось среди бумаг, оставшихся от Васильева.[1]

Из всего огромного научного труда Васильева в области тибетоведения опубликована лишь незначительная часть, лишь то немногое, что сам Васильев считал только введением к своим главным, специальным трудам. Остальное (и то не полностью) находится в архиве, частью в виде работ, приготовленных для печати, частью в виде материалов, еще нуждающихся в обработке.[2] Васильева стали ценить лишь под старость, когда утомленный и разочарованный он не имел ни сил, ни желания обрабатывать для печати свои заброшенные труды. А между тем Васильев знал и свободно пользовался памятниками, изучение которых не под силу даже многим из современных тибетоведов. То, чем В. П. Васильев занимался еще в половине XIX в., стало объектом исследовательских усилий других ученых лишь с конца XIX — начала XX в., причем лишь частично. Большинство же материалов, над которыми он работал, осталось неразработанным до сих пор. В опубликованных работах Васильева по буддизму, написанных на

[1] См. М. И. Тубянский. Предварительное сообщение о рукописном наследии В. П. Васильева и В. В. Горского. ДАН, 1927, стр. 64.

[2] См. М. И. Тубянский, op. cit, стр. 59—64 и С. А. Козин. Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика В. П. Васильева по данным Азиатского музея Академии Наук СССР. ИАН, 1931, стр. 759—774.

основе глубокого изучения тибетских и китайских источников, кое-что сейчас, конечно, уже устарело, но в основном эти труды, снискавшие Васильеву всемирную славу, не потеряли своего научного значения и поныне, не потеряют его, можно думать, и долгое время спустя.

Русское правительство не считало нужным насаждать и поддерживать в России изучение тибетского языка, поскольку из-за своей отдаленности и малодоступности Тибет не представлял непосредственного интереса для колониальной экспансии. Правда, на словах признавалось иногда желательным изучение тибетского языка для православных миссионеров, действовавших среди калмыков и бурят-монголов буддийского вероисповедания, поскольку основная богословская и богослужебная литература этих народов написана на тибетском языке. Однако, как правило, миссионеры отнюдь не отличались стремлением к точному и адэкватному знанию той религии, с которой они вели конкурентную борьбу и довольствовались самыми общими и поверхностными представлениями, больше всего уповая на меры административно-полицейского воздействия на иноверцев. Для них было достаточно некоторого знания монгольского и калмыцкого языков, как средства общения с иноверцами, доставлявшего им некоторые общие представления о буддизме и позволявшего вести пропаганду христианства.

Ни в одном из высших учебных заведений России вплоть до начала XX в. не было кафедр тибетского языка, и даже в начале XX в., когда развитие империалистической политики России в Азии уже поставило, казалось бы, на очередь изучение Тибета и тибетского языка, власти отклонили ходатайство Восточного института во Владивостоке о введении преподавания тибетского языка для студентов этого института. По заключению министерства финансов: «Изучение тибетского языка, представляющее, главным образом, лишь научный интерес, едва ли может быть признано настолько значительным в практическом отношении, чтобы для него следовало учреждать особую кафедру при Восточном институте».[1] Поддерживать занятие, «представляющее, главным образом, лишь научный интерес», русское правительство считало не нужным. Лишь в 1907 г., после повторных просьб, было разрешено открыть во Владивостокском институте преподавание тибетского языка для желающих студентов, в качестве необязательного предмета.[2]

Не многим лучше обстояло дело и на Западе. Правда, западные миссионеры, действовавшие непосредственно в самом Тибете и в сопредельных

[1] См. Н. В. Кюнер. Описание Тибета, Владивосток, 1908, ч. II, вып. I, стр. 101—102.
[2] Там же, стр. 101.

с ним странах, довольно старательно изучали тибетский язык и литературу, поскольку иначе они не могли бы вести там свою пропаганду. Но это изучение не выходило из рамок личной инициативы. Изучение Тибета и тибетского языка начинает привлекать к себе серьезное внимание на Западе лишь с конца XIX в., когда началась усиленная подготовка к захвату Тибета со стороны британского правительства Индии.

При таких условиях, вплоть до конца XIX — начала XX в., ни на Западе, ни тем более у нас в России не могла сложиться школа тибетоведов, не могло быть непосредственной преемственности знаний, и самое количество тибетоведов исчислялось единицами. На Западе — тибетским языком занимались отдельные миссионеры или, позднее, политические эмиссары индийского правительства. В России же, которая непосредственных отношений с Тибетом не поддерживала, тибетским языком занимались лица, которые по своим служебным или личным делам приходили случайно в соприкосновение с калмыками и бурят-монголами и от живших среди них лам черпали свои знания тибетского языка и литературы. Исключением из этого правила в России был, пожалуй, только Шифнер, который обязан своими познаниями, главным образом, самообучению. Что же касается всех остальных, то Ериг, как я уже говорил, был переводчиком в Кяхте, Шмидт приобрел свои знания, преимущественно, во время трехлетней торговой деятельности среди калмыков, Васильев и Горский получили их, работая в православной духовной миссии в Пекине. Во всех случаях занятия тибетским языком были побочными и отнюдь не поощряемыми личными увлечениями, не находившими себе широкого применения даже и тогда, когда эти занятия в лице В. П. Васильева дали одного из самых крупных тибетоведов мира.

По существу интерес к изучению Тибета и тибетского языка правящие круги русского общества начали проявлять лишь с конца XIX в., когда развитие русской политики в Азии, столкновение русских и английских интересов на этом материке выдвинули на первый план необходимость исследования Центральной Азии и, в частности, Тибета. До этих пор русское правительство не только не поддерживало научных занятий Тибетом, но совершенно игнорировало те оживленные сношения, которые бурят-монголы и калмыки, жившие в пределах России, поддерживали с Тибетом. Еще в 1767 г. глава буддийского духовенства в Сибири первый Бандида Хамбо Дамбадарже Заяев представил Екатерине II очерк своего путешествия в Тибет, откуда он вернулся в 1741 г., но этот очерк, составленный по-тибетски и снабженный русским и монгольским переводами, так и остался в архиве, и лишь в конце XIX в. А. М. Позднеев в своей хре-

стоматии поместил его монгольский текст. Та же участь постигла и сообщения других бурятских и калмыцких путешественников, пробиравшихся из России в Тибет. Но с конца XIX в. положение круто меняется. С этого времени начинается ряд успешных и безуспешных попыток проникнуть в Тибет, организуется ряд экспедиций для исследования Центральной Азии и Тибета (Пржевальского, Певцова, Роборовского, Козлова и др.), возникают и находят свое осуществление попытки использовать для исследования Тибета бурят-монголов и калмыков, которые все время поддерживали сношения с Тибетом и которым в качестве паломников было легче всего туда проникнуть. Вместе с тем растет исподволь интерес к тибетскому языку, литературе, искусству и религии, появляются кадры новых исследователей.

В качестве энергичного руководителя этих кадров, инициатора и пропагандиста изучения Тибета и выступил С. Ф. Ольденбург.

С. Ф. Ольденбург с давних пор интересовался Тибетом. Ученик И. П. Минаева и отчасти В. П. Васильева, он уделил много сил и внимания изучению буддизма, являвшегося главным объектом научно-исследовательской работы его учителей. В том горячем увлечении, с которым молодой Ольденбург занялся изучением буддизма, сказалось, впрочем, не одно только влияние его учителей. На Сергея Федоровича довольно заметно повлиял повышенный интерес к религии, которым была захвачена часть русской интеллигенции 80-х годов, искавшая в религиозных учениях Запада и Востока выхода из той темной полосы реакции, которая характеризует тогдашний период истории России. Вместе со многими другими С. Ф. Ольденбург воспринимал человека Востока как человека религии по преимуществу и был склонен именно в религии видеть ключ к пониманию восточного общества. Но Сергей Федорович был, прежде всего, большим ученым, вдумчивым и трезвым аналитиком и потому не мог не убедиться в конце концов, что человек Востока, так же как и человек Запада, живет не религией, а реальной земной жизнью, что религиозные воззрения его имеют исторический, преходящий характер и вызваны, в конечном счете, условиями его материального существования.

С. Ф. Ольденбург серьезно и глубоко занялся изучением буддизма, но в этом изучении он пошел особенным путем, путем, отчасти предуказанным в работах его знаменитого учителя И. П. Минаева, но лежавшим в стороне от того основного направления русской буддологии, которое было ей придано ее основоположниками — В. П. Васильевым и тем же Минаевым. Основное течение русской буддологии направилось по пути изучения богатого философского наследия позднейшего буддизма — Махаяны, и здесь

в историю науки блестящую страницу вписал младший товарищ С. Ф. Ольденбурга по университету акад. Ф. И. Щербатской, который унаследовал от Васильева и Минаева глубокий интерес к буддийской философии и дал в своих работах мастерскую интерпретацию философского учения Махаяны в его связи с философскими воззрениями других школ древней Индии.

С. Ф. Ольденбург пошел по другому пути. Его интересовали сами истоки буддийской религиозности, те конкретные исторические условия, благодаря которым возник и развивался буддизм, те разнообразные формы, в которых проявилась буддийская религия, те различные представления, которые она в себя вбирала и на которые оказала свое воздействие. И вполне естественно, что Сергей Федорович пришел к изучению Тибета, потому что именно в Тибете буддизм представляет поныне господствующую религию, потому что в Тибете сохранились многие исчезнувшие в Индии памятники, потому что в Тибете сохранилась удивительно стойкая традиция, тянущаяся от той эпохи, когда буддизм был еще живым явлением в Индии.

Уступая дорогу в области буддийской философии своему более вооруженному товарищу, С. Ф. Ольденбург оставил за собою обширное поле исследования социально-экономических условий, при которых и благодаря которым сложилась и существует буддийская религия, всего того сложного запаса представлений, в связи с которыми жил и развивался буддизм, всех тех различных проявлений человеческой деятельности, на которых сказалось влияние буддийской религии или которые были ею подчинены.

С. Ф. Ольденбург ни минуты не думал, что с этими сложными задачами ему удастся справиться одному, что ему одному удастся разрешить и вопрос о происхождении буддизма, и вопросы буддийского синкретизма и вопросы буддийского канона и обрядов, искусства и литературы. Он понял свою задачу как задачу организатора и руководителя целой сети исследовательских предприятий, объединяющих вокруг себя самых разнообразных специалистов.

По инициативе С. Ф. Ольденбурга Академия Наук предприняла с 1897 г. издание особой серии «Bibliotheca Buddhica», серии, посвященной изданию памятников позднейшего буддизма на самых различных языках. На протяжении 45 лет существования «Bibliotheca Buddhica» С. Ф. Ольденбург был ее бессменным редактором и руководителем, сумевшим привлечь к участию в ее изданиях крупнейших специалистов всего мира и осуществить, за сравнительно короткий срок, издание ряда важнейших материалов по буддийской философии, религии и искусству.

Из различных рукописных материалов, собранных в 1830 г. бар. Шиллингом фон-Канштадт в Забайкальи, С. Ф. Ольденбург извлек забытый альбом буддийских изображений, представляющий собою выполненное по заказу Шиллинга[1] одним бурятским художником того времени воспроизведение ксилографа, изданного в Китае в XVIII в. знаменитым Lcang-skya Rol-bai-rdo-rje. Снабдив этот альбом тибетским алфавитным индексом, который был составлен Ц. Ж. Жамцарано и Б. Б. Барадийным,[2] С. Ф. Ольденбург издал его в серии «Bibliotheca Buddhica» под названием «Сборник трехсот бурханов», справедливо учитывая, какое большое значение он будет иметь для определения буддийских коллекций, сосредоточенных в различных европейских музеях. И действительно, несмотря на некоторые незначительные неточности, вкравшиеся в изображения по вине художника, «Сборник 300 бурханов» до сих пор является главным пособием для различных музеев, располагающих буддийскими изображениями. К сожалению, Сергею Федоровичу так и не удалось выполнить до конца предпринятое им сопоставление изображений сборника с материалами, представленными в музеях.

Наряду с изданием этого сборника С. Ф. Ольденбург оказал немалую поддержку проф. Грюнведелю в осуществлении предпринятого им описания крупнейшего собрания буддийских изображений и предметов культа, принадлежавших кн. Э. Э. Ухтомскому, взяв на себя труд перевода части его книги, опубликованной затем в «Bibliotheca Buddhica». Эти и другие работы С. Ф. Ольденбурга в области буддийского искусства, его исследования изображений Хара-хото, Дун-хуана и других мест, создали ему славу одного из лучших знатоков буддийского искусства вообще и искусства тибетского буддизма в частности.

Сознавая, какие важные последствия может иметь не только в политическом отношении, но и для науки о Тибете пребывание тибетской миссии в России, С. Ф. Ольденбург вступил в самые тесные личные сношения с представителями Далай-ламы и оказывал им на протяжении ряда лет

[1] Предположение С. Ф. Ольденбурга о принадлежности этого альбома к собранию тибетских рукописей и ксилографов, поступившему в Академию Наук от Шиллинга, высказанное им на основании внешности альбома, теперь полностью подтверждается. Мне удалось обнаружить в рукописном фонде Института Востоковедения написанный рукою Шиллинга список его собрания, в котором под № 77 значится: Abbildungen von 300 Gottheiten.

[2] К сожалению, С. Ф. Ольденбург не знал, что в рукописном собрании Шиллинга, находящемся в Институте востоковедения, имеется уже готовый индекс к альбому трехсот бурханов, заказанный Шиллингом в Бурят-Монголии и замечательный тем, что в нем под тибетскими названиями бурханов, расположенными по алфавиту, подписаны также и монгольские названия.

всемерное содействие, вплоть до хлопот об учреждении постоянного местопребывания тибетской миссии в Петербурге и т. д. От кипучей деятельности Ольденбурга в этом направлении сохранилось, между прочим, личное письмо к нему от Далай-ламы, в котором последний благодарит его за помощь, оказанную тибетской миссии.[1] Расчеты С. Ф. Ольденбурга на то, чтобы путем личных сношений с тибетскими представителями и некоторой поддержки, им оказываемой, добиться получения ряда новых материалов для тибетоведения, до известной степени оправдались. Академия Наук получила от тибетской миссии ряд рукописей и ксилографов, коллекции буддийских изображений и предметов культа и даже новый тибетский шрифт для своей типографии.

С воодушевлением, с удивительной энергией С. Ф. Ольденбург взялся за организацию всестороннего научного изучения Тибета. Еще в 1893 г. он напечатал рецензию на небольшую работу К. Marx'а, миссионера в Ладаке, опубликовавшего перевод тибетского диалога между Hāshang-rgyal-po и Ug-tad, а затем рецензировал сборник статей Потаниной о путешествиях по Восточной Сибири, Монголии, Тибету и Китаю, каталог Huth'а к Данчжуру, географию Тибета Минчжул Хутухты, изданную В. П. Васильевым, и другие работы.

При его живом содействии были организованы Русским географическим обществом две поездки в Тибет: О. Норзунова в 1898—1901 гг.

[1] Письмо это было несколько лет тому назад передано С. Ф. Ольденбургом в Институт востоковедения. Оно написано уставным почерком на европейской бумаге и было отправлено в конверте, запечатанном малой печаткой (так наз. ཐེ་བ་ཚེ་) Далай-ламы. На конверте написано курсивом: མཁྱེན་ལྡན་ཨོལ་ཏེང་སྦུར་ཁ་ལ། «Знанием обладающему Ольденбургу».

Привожу полный текст письма с сохранением орфографии подлинника и его перевод:

༄ ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཡི་གེ། མཁྱེན་ལྡན་ཨོལ་ཏེང་སྦུར་གར་ ཆེད་དོན་ ད་ཕན་ཉིད་ནས་ བོད་དོན་
སྐྱོར་མཆན་ཞབས་མཁན་ཆེན་རོག་ཕན་ཆེན་པོ་གནང་བ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ ད་ཏུང་སྔར་ བཞིན་གང་ཅིར་
མཐུན་ལམ་ཕན་ཆ་ཡོད་པ་ཡིད་འཛུགས་འཚལ་ རྟེན་ཁ་བཏགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྟེན་ནམ་ལྡན་ སྣམ་
ལེགས་བྱབས་གསུམ་བཅས་ རི་ཙེའི་ གཟིམ་ཁྱུང་ཕུ་གསར་སྡེང་ནས་ ས་སྤྲེ་ཟླ༣ཚེས༨ལ་བྲིས།

«Письмо Далай-ламы знанием обладающему Ольденбургу. Содержание: Очень благодарен за большую дружескую поддержку, оказанную Вами до ныне кенчену [*тибетский ранг представителя Далай-ламы, Агвана Доржеева*], представителю по делам Тибета. Надеюсь и впредь, как и прежде, на всяческое содействие и поддержку. Вместе с подкреплением (в виде) хадака, статуи Будды с облачением и трех кусков сукна, из обители Пу-са-дин [菩薩頂] У-тай-шана в год Земли-Обезьяны (1908), в 3 месяц, в 8 день написано».

и Г. Ц. Цыбикова в 1899—1902 гг., давшие, особенно последняя, много новых и ценных для науки сведений и материалов.

Но особенно активное участие С. Ф. Ольденбург принял в научной обработке результатов этих путешествий и первым оценил высокое значение для науки сведений и материалов, собранных Г. Ц. Цыбиковым. По его отзыву о путешествии Г. Ц. Цыбикова, последнему была присуждена, кстати сказать, премия Пржевальского. Собранная Г. Ц. Цыбиковым в Тибете большая коллекция оригинальной тибетской литературы была передана Географическим обществом в Академию Наук и значительно обогатила ее тибетский фонд. Вместе с секретарем общества А. В. Григорьевым С. Ф. Ольденбург взял на себя труд редактирования отчета о путешествии Г. Ц. Цыбикова и довел этот труд до конца, опубликовав в 1918 г. (уже после смерти А. В. Григорьева) этот отчет под названием «Буддист-паломник у святынь Тибета». При его же деятельном участии Русским комитетом по изучению Средней и Восточной Азии была организована и осуществлена в 1905—1907 гг. командировка Б. Б. Барадийна в Лавран, также давшая много новых и ценных научных материалов и обогатившая собрание тибетской литературы Академии Наук тщательно и умело составленкой коллекцией тибетских ксилографов, изданных в Амдо. Краткий предварительный отчет об этой командировке, инициатором и руководителем которой в значительной степени был сам Сергей Федорович, был опубликован им еще в 1908 г.[1] Он же взял на себя и задачу научной обработки результатов этой командировки — редактирование обширного и содержательного отчета Б. Б. Барадийна. К сожалению, эту работу С. Ф. Ольденбург так и не успел осуществить, и отчет Барадийна пока еще не издан. С неизменным интересом и неослабным вниманием С. Ф. Ольденбург следил за работой этих и других наших путешественников в Тибет, поддерживая всякое новое начинание в этом направлении, помогая своим советом и руководящими указаниями, умело добиваясь устранения в дальнейших работах недостатков, замеченных им в прошлом.

Вместе с тем С. Ф. Ольденбург внимательно следил и за результатами путешествий в эту страну западноевропейских, индийских и американских исследователей. Еще в 1902 г. он опубликовал в «Живой старине» рецензию на отчет Sarat Chandra Das'a о своем путешествии в Тибет, который был тогда только что издан W. W. Rockhill'ем, а затем на протяжении шести лет, с 1904 по 1909 г., он регулярно из года в год помещал

[1] Изв. Русск. комитета для изучения Средней и Восточной Азии, № 8, 1908, стр. 17—21.

в «Журнале Министерства народного просвещения» критические обзоры новейшей литературы о Тибете, иностранной и русской.

В 1904 г., как известно, Англия осуществила давно задуманную и тщательно подготовленную интервенцию в Тибет. С 3000 отрядом англо-индийских войск под начальством генерала Macdonald, комиссар британского правительства полковник Jounghusband вторгся в пределы Тибета и, рассеяв плохо вооруженные и неспособные к серьезному сопротивлению воинские части тибетцев, достиг столицы страны — Лхасы, которая была покинута Далай-ламой, бежавшим при приближении англичан на север. Сформированному тибетскому правительству был навязан договор, который был впоследствии, по соглашению с Россией, значительно урезан, но который в первой его редакции ставил Тибет в фактическую зависимость от британского правительства Индии.

Подобное событие не могло остаться незамеченным. Последовал целый ряд запросов и дипломатических представлений со стороны России, которая соревновалась с Англией в захватах на Азиатском материке. Возбуждено было общественное мнение в ряде стран и, прежде всего, конечно, в России и в Англии, причем со стороны каждого из соперничавших государств были приняты меры к обработке общественного мнения в направлении, отвечавшем их противоречивым империалистическим интересам. Возник интерес к Тибету и широкий спрос на литературу об этой стране. Английское правительство опубликовало в 1904—1905 гг. подряд три «Синие книги» документов, относящихся ко времени, предшествовавшему интервенции, и к самому ее проведению. Появились книги участников англо-индийского похода — очевидцев происходивших событий. Возник спрос на литературу, посвященную прежним и новым изысканиям в Тибете, будь то в центральной его части или на его окраинных территориях.

Отвечая своими статьями на этот повышенный политический интерес к Тибету, С. Ф. Ольденбург в то же время стремился к тому, чтобы использовать этот интерес для пропаганды всестороннего научного изучения Тибета, для организации научного исследования этой страны в физико-географическом и этнографическом отношениях, для изучения ее языка и литературы, искусства, философии и религии. В этом смысле, в смысле пропаганды всестороннего изучения Тибета и критической оценки всего того, что уже сделано наукой в этой области, С. Ф. Ольденбург оказал, бесспорно, большую услугу науке.

Посвящая свои статьи критическому разбору 28 новых книг о Тибете (в том числе и трех «Blue books»), С. Ф. Ольденбург в каждой из них стара-

тельно отмечал и подчеркивал, какое значение имеет та или иная из этих книг для науки, что нового и ценного она вносит в наше знание Тибета, в чем ее основные достоинства и недостатки. Не ограничиваясь разбором одних только этих книг, С. Ф. Ольденбург привлек попутно к рассмотрению еще около сотни разных старых и новых печатных работ о Тибете, а также рукописный материал, извлеченный им из различных архивов. В частности, им было опубликовано по бумагам Klaproth'а неизвестное дотоле оглавление к труду знаменитого иезуита-миссионера Desideri «Notiziae Istoriche del Thibet».

Всякий, кому приходилось изучать литературу о Тибете, знает, насколько разбросана и, иногда, трудно доступна эта литература, и не может не выразить глубокой признательности С. Ф. Ольденбургу за то, что он в своих статьях собрал и критически оценил значительную и едва ли не самую существенную часть из того, что различными путешественниками в Тибет было написано об этой стране. Это был огромный труд, требовавший от автора исключительных познаний и начитанности и выполненный им с подлинным мастерством. Немудрено поэтому, что библиографические статьи С. Ф. Ольденбурга до сих пор служат руководящим пособием для всякого, кто изучает литературу путешествий в Тибет, и высказанные в них суждения и отзывы о книгах много раз повторялись и пересказывались.

Помимо чисто библиографической ценности, которую имеют эти статьи, часть из них ценна своими специальными исследованиями отдельных проблем.

Первая статья, озаглавленная «Новейшая литература о Тибете», дает не только разбор ряда книг, но и два очерка — очерк истории европейских путешествий в Тибет и очерк подготовки английской интервенции 1904 г.[1] Последний был составлен на основании внимательного изучения документов, опубликованных в «Blue book, 1904», и тех данных, которые С. Ф. Ольденбург почерпнул из личного общения с представителями Далай-Ламы в Петербурге. До сих пор он остается в нашей литературе единственным в своем роде, отличаясь умением автора использовать весь существенный материал, находившийся в его распоряжении, и представить его в сжатом и красочном изложении. Что же касается первого очерка, то хотя еще В. Л. Котвич в своем предисловии к переводу путешествия в Тибет Сарат Чандра Даса дал обзор истории путешествий европейцев в эту страну, все же С. Ф. Ольденбург сумел и здесь найти новые данные как библиографического, так и фактического порядка, и его очерк явился безусловно одним

[1] Журн. Мин. нар. просв., 1904, ноябрь, отд. II (Критика и библиография), стр. 129—168.

из руководящих пособий для позднейшей работы Н. В. Кюнера, давшего в своем «Описании Тибета» подробную картину европейских путешествий в эту страну.

Вторая статья озаглавлена «Англо-индийский поход в Тибет 1904 г.» и состоит: 1) из летописи событий английской интервенции 1904 г., изложенной С. Ф. Ольденбургом на основе «Blue books», сообщений участников похода и своих личных сведений и 2) из обзора литературы, напечатанной в результате этого похода.[1] И опять-таки этот очерк является до сих пор единственным в своем роде, свидетельствуя о глубоких познаниях С. Ф. Ольденбурга и его умении выделить из массы фактов и представить в ясном и точном изложении самое существенное и основное.

Остальные статьи носят общее название «Новые книги о Тибете» и представляют собрание рецензий из 18 книг.[2] Из них две имеют значение первоклассных исследовательских заметок. Первая — это рецензия на труд Козлова «Монголия и Кам», в которой С. Ф. Ольденбург впервые дал попытку, на основе внимательного сопоставления сообщений различных путешественников, восстановить этнографическую картину обряда тибетской свадьбы. Вторая — это рецензия на сборник «Tibetan Tales» O'Connor'a, в которой С. Ф. Ольденбург, отправляясь от указания составителя, что по словам самих тибетцев большинство их сказок индийского происхождения, и опираясь на свое глубокое знание индийского сказочного материала, дал целую таблицу соответствий, выполнив тем самым задачу, которая для составителя сборника оказалась не по силам.

По существу, критико-библиографические статьи С. Ф. Ольденбурга, разбирая новую литературу о Тибете, подвели впервые в нашей науке итог тому, что нам известно об этой стране, и показали те неотложные задачи, которые стоят перед ее исследователями. Они, вместе с тем, дали нам ряд наглядных примеров того, как нужно решать эти задачи, какие интересные и ценные данные можно извлечь из прежних сообщений путешественников, если правильно и вдумчиво подойти к их анализу, и какие данные можно и должно собрать при дальнейших непосредственных изысканиях на месте. Вопросы истории европейских путешествий в Тибет, вопросы истории и современного автору этапа английской колониальной

[1] Журн. Мин. нар. пр., 1905, июль, отд. I (Критика и библиография), стр. 197—227 (Летопись похода), и там же, 1905, сентябрь, отд. II (Критика и библиография), стр. 134—150 (Научные результаты).

[2] Журн. Мин. нар. пр., 1906, август, отд. II, стр. 318—327; 1907, сентябрь, отд. II, стр. 244—262; 1908, январь, отд. II, стр. 219—233; 1909, май, отд. II, стр. 167—178.

политики в Тибете, вопросы тибетской этнографии, фольклора и искусства были впервые поставлены в нашей научной литературе С. Ф. Ольденбургом, который сумел по каждому из них найти и разработать новые данные и начертать перспективы их дальнейшего изучения.

Перечисленными работами еще не исчерпывается все то, что С. Ф. Ольденбургом было сделано для развития науки о Тибете. Много было разных повседневных забот, личных руководящих указаний, которые он щедро расточал своим сотрудникам, много было различных организационных предприятий по тибетоведению, душою которых он был. Еще не так давно С. Ф. Ольденбург, всегда высоко ценивший труды В. П. Васильева, был вместе с Ф. И. Щербатским и М. И. Тубянским инициатором большого предприятия по разбору рукописного наследия В. П. Васильева, которое выразилось в перепечатке трудов этого ученого на пишущей машинке для их дальнейшей научной разработки.

При его же поддержке и неизменном участии создалась и первая в истории нашей науки исследовательская школа тибетоведов, руководимая акад. Ф. И. Щербатским. Росту этой молодой научной школы, сформировавшейся после Октябрьской революции и пока еще очень малочисленной по количеству работников, С. Ф. Ольденбург уделял много забот и внимания.

В работах С. Ф. Ольденбурга по Тибету и по вопросам, так или иначе с Тибетом связанным, отражаются, как в зеркале характернейшие его особенности. Это, прежде всего, — способность чутко прислушиваться и немедленно реагировать конкретным научным трудом на запросы, которые ставит перед наукой сегодняшний день. Это — разносторонняя начитанность, дававшая ему возможность во всеоружии новейших и точнейших знаний ответить на запросы современности. Это — умение чувствовать нужды науки, видеть все разнообразные задачи, которые ждут разрешения, и выделять из них самое важное и нетложное и, наконец, огромный, всепоглощающий организаторский талант.

Индианист и отчасти иранист по своему университетскому образованию, буддолог по своим преимущественным интересам, С. Ф. Ольденбург сумел в то же самое время стать и быть руководителем и организатором русских тибетоведов. Умело направляя основные исследовательские силы на изучение наиболее важных областей, создавая научные объединения разных специалистов, для того чтобы со всех сторон осветить изучаемый вопрос, привлекая новых работников к исследованию вопросов, еще не затронутых или обойденных наукой, С. Ф. Ольденбург оказал неоценимую услугу тибе-

товедению, был пропагандистом тибетоведения в нашей стране и пионером в исследовании отдельных участков этой науки.

Немного печатных трудов оставил он в области тибетоведения, но все его работы прочно вошли в инвентарь нашей науки, а о самой личности С. Ф. Ольденбурга надолго останется у наших тибетоведов память, как о крупнейшем организаторе, учителе и пропагандисте науки.

Технический редактор К. А. Гранстрем. — Ученый корректор Е. М. Мастыко

Сдано в набор 10 мая 1935 г. — Подписано к печати 20 сентября 1935 г.

81 стр. + портрет
Формат бум. 72 × 110 см. — $5^1/_4$ печ. л. — 40445 зн. в печ. л. — Тираж 1665
Ленгорлит № 25021. — АНИ № 676. — Заказ № 1866

Типография Академии Наук СССР. В. О., 9 линия, 12

Цена 3 руб. 50 коп.